



**ГЮСТАВ ЛЕБОН**

**ПСИХОЛОГИЯ  
ТОЛП**

---

**ГАБРИЭЛЬ ТАРД**

**МНЕНИЕ И ТОЛПА**



---

---

*Гюстав Лебон*

**ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП**

---

*Габриэль Тард*

**МНЕНИЕ И ТОЛПА**

---

---

---

Библиотека социальной психологии

---

**ПСИХОЛОГИЯ  
ТОЛП**

---

**Москва**  
**Институт психологии РАН**  
**Издательство КСП+**

**1998**

---

**ББК 88.2**  
**УДК 159.92**  
**П 63**

*В оформлении обложки использован фрагмент  
картины Питера Брейгеля Старшего «Падение ангелов».*

**П 63 Психология толп. — М.: Институт психологии РАН,  
Издательство «КСП+», 1998. — 416 с.**

**ISBN 5-201-02259-6**

**ISBN 5-89692-002-4**

В данной книге после многих лет забвения или замалчивания печатаются блистательные труды Гюстава Лебона и Габриэля Тарда, положившие начало социальной психологии (психологии масс) как самостоятельной науки.

Читатель сможет иными глазами взглянуть на общественные процессы в современной России, по-иному воспринимать информацию со страниц газет или экрана ТВ после знакомства с работами двух великих французских социологов.

Для психологов, преподавателей, историков, социологов, работников СМИ и студентов соответствующих специальностей.

© Институт психологии РАН — общая редакция  
серии, вступительная статья, 1998

© Боковиков А. К. — составление тома и серии  
в целом, 1998

© ЦИТ «Универсум» — оформление тома и серии  
в целом, 1998

ISBN 5-201-02259-6 (Издательство «Институт психологии РАН»)

ISBN 5-89692-002-4 (Издательство «КСП+»)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*В. Н. Дружинин.*

Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества .....9

## *Г. Лебон* ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

### КНИГА I

#### ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ

Введение. *Современные идеи равенства  
и психологические основы истории*..... 15

#### ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

##### Психологические свойства рас

Глава I. *Душа рас* ..... 20

Глава II. *Пределы изменчивости характера рас* ..... 27

Глава III. *Психологическая иерархия рас* ..... 31

Глава IV. *Прогрессивная дифференциация  
индивидов и рас*..... 38

Глава V. *Образование исторических рас* ..... 43

#### ВТОРОЙ ОТДЕЛ

##### Как психологические черты рас обнаруживаются в различных элементах их цивилизаций

Глава I. *История народов как следствие их характера* ..... 49

Глава II. *Различные элементы цивилизации  
как внешнее проявление души народа* ..... 60

Глава III. *Как преобразовываются учреждения,  
религии и языки* ..... 69

Глава IV. *Как преобразовываются искусства* ..... 78

#### ТРЕТИЙ ОТДЕЛ

##### Как изменяются психологические черты рас

Глава I. *Роль идей в развитии цивилизаций* ..... 92

Глава II. *Роль религиозных верований  
в развитии цивилизации* ..... 103

Глава III. *Роль великих людей в развитии цивилизаций* ..... 107

#### ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ

Разложение характера рас и их падение

Глава I. *Как цивилизации бледнеют и гаснут* ..... 112

Глава II. *Общие выводы* ..... 118

### КНИГА II

#### ПСИХОЛОГИЯ МАСС

Предисловие ..... 122

Введение. *Эра толпы* ..... 125

#### ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

Душа толпы

Глава I. *Общая характеристика толпы.  
Психологический закон ее духовного единства* ..... 131

Глава II. *Чувства и нравственность толпы* ..... 138

§1. *Импульсивность, изменчивость  
и раздражительность толпы* ..... 139

§2. *Податливость внушению и легковерие толпы* ..... 141

§3. *Преувеличение и односторонность чувств толпы* ..... 148

§4. *Нетерпимость, авторитетность  
и консерватизм толпы* ..... 150

§5. *Нравственность толпы* ..... 152

Глава III. *Идеи, рассуждения и воображение толпы* ..... 155

§1. *Идеи толпы* ..... 155

§2. *Рассуждения толпы* ..... 158

§3. *Воображение толпы* ..... 159

Глава IV. *Религиозные формы, в которые облакаются  
все убеждения толпы* ..... 162

**ВТОРОЙ ОТДЕЛ**  
**Мнения и верования толпы**

Глава I. <i>Отдаленные факторы мнений и верований толпы</i> .....	167
§1. <i>Раса</i> .....	168
§2. <i>Традиции</i> .....	169
§3. <i>Время</i> .....	171
§4. <i>Политические и социальные учреждения</i> .....	172
§5. <i>Образование и воспитание</i> .....	175
Глава II. <i>Непосредственные факторы мнений толпы</i> .....	182
§1. <i>Образы, слова и формулы</i> .....	183
§2. <i>Иллюзии</i> .....	187
§3. <i>Опыт</i> .....	189
§4. <i>Рассудок</i> .....	190
Глава III. <i>Вожаки толпы и их способы убеждения</i> .....	192
§1. <i>Вожаки толпы</i> .....	193
§2. <i>Способы действия вожаков: утверждение, повторение, зараза</i> .....	197
§3. <i>Обаяние</i> .....	201
Глава IV. <i>Границы изменчивости мнений и верований толпы</i> .....	209
§1. <i>Постоянные верования</i> .....	209
§2. <i>Непостоянные мнения толпы</i> .....	213

**ТРЕТИЙ ОТДЕЛ**

**Классификация и описание толпы различных категорий**

Глава I. <i>Классификация толпы</i> .....	219
§1. <i>Разнородная толпа</i> .....	220
§2. <i>Толпа однородная</i> .....	221
Глава II. <i>Преступная толпа</i> .....	222
Глава III. <i>Присяжные и уголовные суды</i> .....	226
Глава IV. <i>Избирательная толпа</i> .....	232
Глава V. <i>Парламентские собрания</i> .....	239



---

*Г. Тард*

**МНЕНИЕ И ТОЛПА**

Предисловие .....	257
Публика и толпа .....	259
Общественное мнение и разговор.....	300
Мнение .....	300
Разговор .....	312
Толпы и преступные секты .....	365

*Представленная в рамках «Библиотеки социальной психологии» антология трудов классиков социальной психологии в трех томах включает работы, которые создавались в основном на рубеже XIX–XX вв., когда на арену политической жизни выходили массы (толпы, классы, народы) под водительством лидеров уже нового типа — «своих» людей в кепке, черной или коричневой рубашке и т. п. Это устрашало верхи и воодушевляло низы в большинстве стран Европы: и те, и другие видели неизбежность перемен в связи с тем, что позже испанский социолог Ортега-и-Гассет назвал «Восстанием масс».*

*Однако до него, и пожалуй наиболее тщательно, данный феномен общественно-политической жизни отслеживался представителями науки, которая незадолго до этого утвердилась в качестве солидной академической области исследований, а именно психологии, «конфирмация» которой связывается с открытием в 1879 г. по инициативе В. Вундта первой лаборатории в Лейпциге. Характерно и в высшей степени примечательно, что именно Вильгельм Вундт (Wundt) — один из первооснователей физиологической психологии — последние годы посвятил изучению психологии народов (Völkerpsychologie. Bd. 1–10. 1900–1920). Таким образом, острый интерес к психологии масс, психологии толпы, психологии класса, психологии народов пришелся на время бурного развития данной науки*

в целом, и практически параллельно цивилизационному сдвигу, который повлек за собой революции и войны в одном из наиболее трагических столетий истории — XX веке. С многомиллионными жертвами и неизбывными до наших дней последствиями...

Может, поэтому приводимые в антологии работы практически не устарели? Или психология масс в принципе изменяется очень мало — по существу, а не по формам проявления? А может, потому, что мы очередной раз приближаемся к рубежу веков? Ответы на данные вопросы, конечно же не окончательные, но глубокие и до сих пор продуктивные, и даются в работах предлагаемой антологии.

Немного об их авторах. Гюстав Лебон (Le Bon) (1841–1921) — врач и социолог, ученый с энциклопедическими познаниями — фактически один из первых заявил о наступлении «эры толпы», или, как пишет современный исследователь С. Московичи, начале времени, имя которому — «Век толп» (в одноименной книге). Число книг о Лебоне перед концом нашего века неуклонно растет (на иностранных языках); пора и нашему читателю возобновить знакомство с его главным произведением. В России работа «Психология толп» (*Psychologie des foules*, 1895) вышла под названием «Психология народов и масс» год спустя после ее появления на французском языке.

Габриэль Тард (Tarde) (1843–1904) — социолог, психолог и криминалист, основоположник экономической психологии, один из пионеров «интерпсихологии» (то есть психологии взаимодействия между людьми) и социологии конфликта, разработчик «закона подражания» как ключевого в массовом поведении — представлен работой «Мнение и толпа» (*L'opinion et la foule*, 1892). Перевод книги осуществлялся дважды: первое издание вышло в 1893 г. в Казани под броским и бьющим в глаза названием «Преступления толпы».

Во втором томе антологии представлены переводы немецкоязычных и италияязычных трудов. О В. Вундте (1832–1920) говорилось выше. Вряд ли нужно особо представлять и Зигмунда Фрейда, приводимая работа кото-

рого вышла на немецком языке в 1921 г., а на русском в 1925 г.

Несколько слов о часто упоминаемом, но редко представляемом итальянском социальном мыслителе. Ученик знаменитого криминолога Ч. Ломброзо, Сципион Сигеле (*S. Sighele*) (1868–1913) изучал юриспруденцию и медицину. Феномен толпы исследовался им с опорой на методы статистики, но с позиций глубоко продуманного психологического подхода. Сделавшая его знаменитым книга «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии» (*La folla criminale*) вышла в Турине в 1892 г.

В заключительном томе — снова работы французских авторов. Первая — «Революционный невроз» (*La nevrose revolutionnaire*). Ее автор, Огюстен Кабанес (*Cabanès*) (1862–1928) (при участии Л. Нассе), так же как и его почти однофамилец Пьер Кабанис (1757–1808), — врач и литератор. Он автор множества трудов, в основном фактологического характера (например, монографии о психологии личности Марата). Но лишь данная его книга после революции 1905 года вышла на русском языке почти одновременно в нескольких переводах. Вряд ли стоит объяснять, почему...

Наконец, работа Альфреда Фуллье (*Foiullee*) (1838–1912) «Психология французского народа» (1898, русский перевод — 1899). Преподаватель Парижской нормальной школы, Фуллье подчеркивал ключевую роль волевого начала в жизни не только общества, но и природы. «Мораль идеи — силы» (название одного из главных его трудов) — движитель и народной жизни, что французский мыслитель показал ярко и убедительно на примере своего народа. По образцу этой книги писались работы, касающиеся психологии и других народов.

Авторы работ, вошедших в антологию, — люди, известность которых перешагнула рамки стран и времен, в которых они жили и творили. Можно было бы добавить в этот список и работы русских мыслителей, в первую очередь Н. К. Михайловского, впервые выявившего потенциал «закона подражания» (его приоритет признавал Г. Тард), Д. Н. Овсяннико-Куликовского («Психология национальности»,

*Петроград, 1922), Н. И. Ковалевского, Г. Г. Шпета, того же В. И. Ульянова-Ленина, у которого к психологии масс был далеко не академический интерес... И, может быть, — нужно (хотя бы в отдельной антологии). Как отмечалось выше, мы приближаемся к рубежу следующих веков и даже — тысячелетий. Массы (толпы) активизируются и сейчас, хотя и несколько по-другому. Особенно на Юге всего мира, любого из континентов, а то и почти каждой страны... И хотелось бы надеяться, что предостерегающий голос авторитетных психологов прошлого избавит нас в будущем от взрывов «революционной энергии» масс. Энергии, как показал опыт угаданного ими «века толп», всеразрушающей.*

*В этом плане выход антологии — явление не только научного порядка: она — и предостережение относительно будущего, которое может просто не состояться.*

*Академик Международной Академии  
педагогических наук,  
кандидат философских наук  
Иван В. Задорожнюк*

## Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества

Предлагаемая вашему вниманию книга открывает библиотеку, посвященную психологии больших групп и объединяющую труды классиков социальной психологии XIX—XX веков и современных авторов.

Необходимость такого издания ощущалась давно. Не стоит, наверное, говорить о запрете научной («буржуазной») социальной психологии, который, с одной стороны, позволял процветать под сенью марксизма-ленинизма всякого рода компиляторам, а, с другой стороны, задерживал развитие отечественной социально-психологической теории и экспериментальных исследований. Дело в другом: сегодня мы можем увидеть в трудах ученых, принадлежащих к французской социологической мысли конца XIX — начала XX века, истоки тех теорий, направлений, исследовательских программ, которые в яркой новой обертке и при соответствующей рекламе «подают на стол» многие современные авторы.

В этот том вошли труды двух выдающихся ученых: «Психология толп» Гюстава Лебона и «Мнение и толпа» Габриэля Тарда. Случайности здесь нет. Лебон и Тард — оба в конце XIX века стояли у истоков исследований поведения больших групп. Более того, они выделили сам предмет исследований и создали основу понятийного аппарата «социологической» социальной психологии.

На взгляд современного исследователя, работы Лебона и Тарда с большим трудом можно зачислить в реестр строго научных: в них нет ни грамма привычного для нас измерительного подхода к исследованиям социально-психологических явлений. Их работы, если пользоваться терминологией их предтечи и соотечественника Огюста Конта, можно отнести к умозрительному знанию, основанному на индивидуальной наблюдательности, интуиции и здравом смысле исследователя.

Но основоположники социальной психологии обладали незаурядным интеллектом, а этот исследовательский инструмент их редко подводил. Лебон и Тард едины только в проблематике, которую исследовали, но не в подходах. Тард верит в интеллектуальный прогресс, считает, что будущий XX век будет не веком толп, а веком космополитичной публики — людей, опосредованно соединенных средствами массовой коммуникации. В толпе —

большой группе людей, взаимодействующих непосредственно, он видит лишь отрицательные стороны; поведение толпы иррационально, деструктивно.

Лебон — сторонник биологической детерминации психики, проповедник теории иерархии рас (под расой он понимал национальность). История для него — история смены культурного доминирования рас: она идет по кругу, и движущая сила революций — толпа, способная не только на разрушения, но также на героизм и самопожертвование. И здесь он полемизирует с Тардом.

Референтным событием, показавшим всю важность психологии толпы, для французских психологов стала Великая революция 1789 года, а век последующий, «век революций» — материалом для теоретического анализа.

И Г. Тард, и Г. Лебон были свидетелями Парижской коммуны 1871 года. Гюстав Лебон прожил долгий век: с 1841 по 1931 год. Он был блестящим публицистом и разносторонним мыслителем: занимался физикой, антропологией, археологией, социологией. Его работы читала вся образованная Европа. «Психология толп»<sup>1</sup> лежала на письменном столе В. И. Ленина. Труды Лебона интересовались Теодор Рузвельт, Муссолини, Де Голль. В работах «Эволюция материи» (1886 г.) и «Эволюция сил» (1907 г.) он развивал идеи энергетизма и атомизма. В «Эволюции цивилизации» он изложил свою точку зрения на законы истории.

Лебон был ярким противником социализма и эгалитаризма. В распространении социалистических и уравнивательных идей он видел угрозу европейской цивилизации, но прогноз его был пессимистичен. В трудах «Психология революций» и «Психология социализма» он констатировал кризис западноевропейской цивилизации, неизбежность распространения социалистических идей и предсказал катастрофические последствия, к которым они приведут. Он стал свидетелем подтверждения своих прогнозов. Лебон полагал, что всеми достижениями народы обязаны деятельности социальной элиты. Разделяя изобретателей и вождей масс («узколобых» людей одной идеи), он утверждает, что именно вторые творят ситуацию, навязывая массам идеи с помощью убеждения, заражения, повторения. Толпа руководствуется не разумом, а эмоциями. В толпе индивид превращается в подверженное влиянию крайних эмоциональных порывов и примитивных влечений существо.

---

<sup>1</sup> В русском издании 1898 г. книга носила название «Психология народов и масс» (прим. ред.)

Взгляды Лебона на отношения личности и толпы ассимилировал З. Фрейд, давший им психоаналитическую интерпретацию в своем классическом труде «Психология масс и анализ человеческого «Я».

Приговор истории, который выносит Лебон, нелицеприятен: «Не в погоне за истиной, но, скорее, в погоне за ложью человечество истратило большую часть своих усилий. Преследуемых им химерических целей оно не в состоянии было достигнуть, но в их преследовании оно совершило весь прогресс, которого вовсе не искало».

Разумеется, сегодня многие из доводов Лебона нельзя воспринимать без улыбки или без возмущения ввиду их необоснованности; это касается, например, его антропометрических аргументов в пользу как неравенства рас, так и самой духовной иерархии народов. Слишком расширительно он толковал и само понятие «толпа», подразумевая под ним любую большую контактную группу. Невозможно без недоумения читать его нападки на процедуру демократических выборов или на особенности характера латинских народов (он любил англичан и терпеть не мог своих соотечественников — французов).

Гюстав Лебон похоронен на кладбище Пер-Лашез, неподалеку от деятелей и жертв революций, интеллектуальной борьбе с которыми он посвятил свою научную деятельность.

Габриэль Тард (1843–1904) — почти ровесник Гюстава Лебона, но ему была суждена более короткая жизнь. Тард по праву стал одним из основоположников социальной психологии. В полемике с Э. Дюркгеймом он отстаивал точку зрения на общество как на продукт взаимодействия индивидуальных сознаний через общение людей. Решающую роль он отводил процессу творчества, изобретения, благодаря которому человек порождает новые элементы культуры. В свою очередь другие люди воспринимают изобретения путем подражания.

Если Э. Дюркгейм считал главными в регуляции общественных отношений коллективные представления и процесс их интериоризации отдельными индивидами, то Г. Тард полагал такую позицию ограниченной и не объясняющей прогресс и распространение социальных изобретений. К ним он относил язык, религию, экономику, и т. д., и т. п.

Идеи Тарда получили поддержку и распространение в США, а не в Западной Европе, поскольку они более отвечали эмпирическому и прагматическому духу американской социологии и социальной психологии.



Именно Тард ввел в практику социально-психологических исследований статистические методы и методы анализа исторических документов. На русском языке до революции издавались его книги «Законы подражания» (1892), «Социальная логика» (1904), «Социальные этюды» (1902) и предлагаемая вашему вниманию «Мнение и толпа», изданная в 1902 г. под названием «Общественное мнение и толпа».

В этом, ставшем классическим, произведении Тард анализирует особенности психологических процессов в больших группах. Основное внимание он уделяет процессу возникновения и распространения общественного мнения (дает классическое определение мнения), а также процессу общения — разговору. Главным достижением Тарда является разделение двух типов больших социальных групп: толпы и публики. Публика — социальная группа, состоящая из индивидов, объединенных общим источником информации (читатели газеты, зрители телепрограммы и т. д.). С точки зрения Тарда толпа — социальная группа прошлого, будущее принадлежит публике. Они — два полюса социальной эволюции. В отличие от толпы, в публике индивиды, «сливаясь в унисон», сохраняют свои индивидуальные различия. Тард видит в толпе нетерпимость, чувство безнаказанности, болезненную восприимчивость, склонность к крайностям и т. д., и полагает, что мир пойдет по пути интеллектуализации, если место толпы займет публика.

И вместе с тем, Тард не наивен: «За преступной толпой стоит еще более преступная публика, а во главе последней — еще более преступные публицисты». Читатель времен Г. Тарда мог принадлежать к разным публикам, читать разные газеты, свобода печати была неоспорима. Тард не знал силы воздействия пропаганды тоталитарного государства. Кто оказался прав в прогнозах: пессимист Лебон или «прогрессист» Тард? История человеческой цивилизации еще не закончена, и поэтому есть надежда, что прав последний.

Социальные психологи с интересом прочтут труды основоположников своей науки. Думаю, что не меньший интерес книги этой серии вызовут и у любого интеллигентного читателя.

*Доктор психологических наук, профессор*

*В. Н. Дружинин*

---

---

*Габриэль Тард*

**МНЕНИЕ И ТОЛПА**

---

---

---

---

**G. Tarde**  
***L'Opinion et la Foule***

*Печатается по изданию:*

*Г. Тард. «Общественное мнение и толпа»,  
изд-во Т-ва типографии А. И. Мамонтова, М., 1902 г.,*

*с приведением текста к нормам современного русского языка.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Выражению *коллективная психология* или *социальная психология* часто придают фантастический смысл, от которого прежде всего необходимо освободиться. Он заключается в том, что мы представляем себе *коллективный ум, коллективное сознание*, как особое *мы*, которое будто бы существует вне или выше индивидуальных умов. Нет надобности в такой точке зрения, в таком мистическом понимании, для того чтобы совершенно отчетливо провести грань между обыкновенной психологией и психологией социальной, которую мы скорее назвали бы интерспиритуальной. В самом деле, первая касается отношений ума ко всей совокупности других внешних предметов, вторая изучает или должна изучать взаимные отношения умов, их влияния: односторонние или взаимные, — односторонние сначала, взаимные потом. Между первой и второй существует таким образом то различие, которое существует между родом и видом. Но вид в этом случае имеет характер столь важный и столь исключительный, что его необходимо выделить из рода и трактовать при помощи методов, специально ему свойственных.

Отдельные этюды, которые найдет здесь читатель, представляют собой фрагменты этой обширной области коллективной психологии. Их соединяет тесная связь. Пришлось перепечатать здесь, с целью определить его настоящее место, этюд о *толпах*, составляющий последнюю часть этой книги. В самом деле, *публика*, которая составляет специальный главный предмет настоящего исследования, есть не что иное, как рассеянная толпа, в которой влияние умов друг на друга стало действием на расстоянии, на расстояниях, все возрастающих. Наконец, *мнение*, являющееся результатом всех этих действий на расстоянии или при личном соприкосновении, составляет для толпы и публики нечто вроде того, что мысль составляет для тела. И если среди этих действий, в результате которых появляется мнение, мы станем искать самое общее и постоянное, то без труда убедимся, что таковым является *разговор*, элементарное, социальное отношение, совершенно забытое социологами.

Полная история разговора у всех народов во все времена была бы в высшей степени интересным документом социального знания; и если бы все трудности, которые представляет этот вопрос, удалось победить с помощью коллективной работы многочислен-

ных ученых, то нет сомнения, что из сопоставления фактов, полученных по этому вопросу у самых различных между собою народов, выделился бы большой запас общих идей, которые позволили бы сделать из *сравнительного разговора* настоящую науку, немного уступающую сравнительной религии, сравнительному искусству и даже сравнительной промышленности, иначе говоря политической экономии.

Но само собой разумеется, что я не мог претендовать на то, чтобы набросать план подобной науки на нескольких страницах. За отсутствием сведений, достаточных хотя бы для самого эскизного наброска, я мог указать только ее будущее место, и я был бы счастлив, если бы, высказав сожаление об ее отсутствии, я возбудил в каком-нибудь молодом исследователе стремление заполнить этот важный пробел.

*Май, 1901*

*Г. Тард*

# ПУБЛИКА И ТОЛПА

## I

Толпа не только привлекает и неотразимо зовет к себе того, кто видит ее; самое ее имя заключает в себе что-то заманчивое и обаятельное для современного читателя, и некоторые писатели склонны обозначать этим неопределенным словом всевозможные группировки людей. Следует устранить эту неясность и особенно не смешивать с толпой *публику*, слово, которое опять-таки можно понимать различно, но которое я постараюсь точно определить. Говорят: публика какого-нибудь театра; публика какого-либо собрания; здесь слово «публика» обозначает толпу. Но этот смысл упомянутого слова не единственный и не главный, и в то время как он постепенно утрачивает свое значение или же остается неизменным, новая эпоха с изобретением книгопечатания создала совершенно особый род публики, которая все растет, и бесконечное распространение которой является одной из характернейших черт нашего времени. Психология толпы уже выяснена; остается выяснить психологию публики, взятой в этом особом смысле слова, т. е., как чисто духовной совокупности, как группы индивидуумов, физически разделенных и соединенных чисто умственной связью. Откуда происходит публика, как она зарождается, как развивается, ее изменения, ее отношение к своим главарям, ее отношение к толпе, к корпорациям, к государствам, ее могущество в хорошем или в дурном и ее способность чувствовать или действовать — вот что будет служить предметом исследования в настоящем этюде.

В самых низших животных обществах ассоциация состоит по преимуществу в материальном соединении. По мере того, как мы поднимаемся вверх по дереву жизни, социальные отношения становятся более духовными. Но если отдельные индивидуумы удаляются друг от друга настолько, что не могут уже более встретиться, или же остаются в таком отдалении друг от друга дольше известного, весьма краткого промежутка времени, они перестают составлять ассоциацию. Таким образом толпа в этом смысле переставляет собою до некоторой степени явление из царства животных. Не является ли она рядом психических воздействий, в сущности проистекающих из физических столкновений? Но не

всякое общение одного ума с другим, одной души с другой обусловлено необходимой близостью тела.

Это условие совсем отсутствует, когда обозначаются в наших цивилизованных обществах так называемые *общественные течения*. Не на сходках, которые происходят на улицах или площадях, рождаются и разливаются эти социальные реки<sup>1</sup>, эти огромные потоки, которые приступом захватывают теперь самые стойкие сердца, самые способные к сопротивлению умы и заставляют парламенты и правительства приносить им в жертву законы и декреты. И странно, те люди, которые увлекаются таким образом, которые взаимно возбуждают друг друга, или же, скорей, передают один другому внушение, идущее сверху, эти люди не соприкасаются между собой, не видятся и не слышат друг друга; они рассеяны по обширной территории, сидят у себя по домам, читая одну и ту же газету. Какая же связь существует между ними? Эта связь состоит в одновременности их убеждения или увлечения, в сознании, проникающем каждого, что эта идея или это желание разделяется в данный момент огромным количеством других людей. Достаточно человеку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет вся их совокупная масса, а не только один журналист, общий вдохновитель, сам невидимый и неведомый и тем более неотразимый.

Читатель вообще не сознает, что подвергается настойчивому, почти неотразимому влиянию той газеты, которую он обыкновенно читает. Журналист же скорее сознает свою угодливость по отношению к публике, никогда не забывая ее природы и вкусов. У читателя далее еще меньше сознания: он абсолютно не догадывается о том влиянии, какое оказывает на него масса других читателей. Но оно, тем не менее, неоспоримо. Оно отражается на степени его интереса, который становится живее, если читатель знает или думает, что этот интерес разделяет более многочисленная или более избранная публика; оно отражается и на его суждении, которое стремится приспособиться к суждениям боль-

---

<sup>1</sup> Заметим, что эти *гидравлические* сравнения естественно напрашиваются всякий раз, когда заходит речь как о толпе, так и о публике. В этом заключается их сходство. Толпа, движущаяся вечером во время публичного празднества, медленностью своего течения и многочисленностью водоворотов напоминает реку, текущую без и определенного русла, так как меньше всего можно сравнить с организмом толпу, если не считать публики. — Это потоки воды, жизнь которых не определена в точности.

шинства или же избранных, смотря по обстоятельствам. Я развертываю газету, которую я считаю сегодняшней, и с жадностью читаю в ней разные новости; потом вдруг я замечаю, что она помечена числом от прошлого месяца или вчерашним, и она тотчас же перестает меня интересовать. Откуда происходит это внезапное охлаждение? Разве факты, сообщенные там, стали менее интересны по существу? Нет, но у нас является мысль, что мы одни читаем их, и этого достаточно. Это доказывает, что живость нашего интереса поддерживалась бессознательной иллюзией общности нашего чувства с чувствами массы других людей. Номер газеты, вышедший накануне или два дня тому назад, по сравнению с сегодняшним есть то же, что речь, прочитанная у себя дома по сравнению с речью прослушанной среди многочисленной толпы.

Когда мы бессознательно подвергаемся этому невидимому влиянию со стороны публики, часть которой мы сами составляем, мы склонны объяснять это просто обаянием *злободневности*. Если нас интересует самый последний номер газеты, это происходит будто бы от того, что он сообщает нам злободневные факты и будто бы при чтении нас увлекает сама их близость к нам, а отнюдь не то, что их одновременно с нами узнают и другие. Но проанализируем хорошенько это столь странное *впечатление злободневности*, возрастающая сила которого является одной из наиболее характерных черт цивилизованной жизни. Разве «злободневным» считается исключительно то, что только что случилось? Нет, злободневным является все, что в данный момент возбуждает всеобщий интерес, хотя бы это был давно прошедший факт. В последние годы было «злободневно» все, что касается Наполеона; злободневно все то, что в моде. И не «злободневно» все то, что вполне ново, но не останавливает на себе внимания публики, занятой чем-либо другим. Во все время, пока тянулось дело Дрейфуса, в Африке или в Азии происходили события, весьма способные возбудить наш интерес, но в них не находили ничего злободневно-го, словом, страсть к злободневности растет вместе с общественностью и она есть не что иное как одно из самых поразительных ее проявлений; а так как периодическая, в особенности же ежедневная, пресса по самому свойству своему говорить о самых злободневных предметах, то не следует удивляться при виде того, как между обычными читателями одной и той же газеты завязывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком мало замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных.



Разумеется, чтобы для индивидуумов, составляющих одну и ту же публику это *внушение на расстоянии* сделалось возможным, нужно, чтобы они привыкали, под влиянием интенсивной общественной жизни, жизни городской, к внушению на близком расстоянии. Мы в детстве, в юношеском возрасте начинаем с того, что чувствуем *влияние взгляда других*, которое бессознательно выражается у нас в наших позах, в жестах, в изменении хода наших идей, в беспорядочности или чрезмерной возбужденности наших речей, в наших суждениях, в наших поступках. И только после того как мы целыми годами подвергались и подвергали других этому внушающему действию взгляда, мы становимся способны к внушению даже посредством *мысли о взгляде другого*, посредством идеи, что мы составляем предмет внимания для личностей удаленных от нас. Равным образом, лишь после того, как мы долгое время испытывали на себе и практиковали сами могущественное влияние догматического и авторитетного голоса, слышанного вблизи, нам достаточно прочесть какое-нибудь энергическое утверждение для того, чтобы подчиниться ему, и просто самое сознание солидарности большого числа подобных нам с этим суждением располагает нас судить в одинаковом с ним смысле. Следовательно, образование публики предполагает духовную и общественную эволюцию, значительно более подвинувшуюся вперед, нежели образование толпы. То чисто идеальное внушение, то заражение без соприкосновения, которые предполагает эта чисто абстрактная и тем не менее столь реальная группировка, эта одухотворенная толпа, поднятая, так сказать, на вторую степень сила, не могло зародиться ранее, как по прошествии целого ряда веков социальной жизни более грубой, более элементарной.

## II

Ни в латинском, ни в греческом языках нет слова, соответствующего тому, что мы разумеем под словом *публика*. Есть слова, обозначающие народ, собрание граждан вооруженных или невооруженных, избирательный корпус, все разновидности толпы. Но какому писателю древности могло прийти на ум говорить о своей публике? Все они не знали ничего, кроме *своей аудитории* в залах, нанимаемых для публичных чтений, где поэты, современники Плиния Младшего, собирали немногочисленную, сочувственную толпу. Что же касается тех немногочисленных читателей манускриптов, переписанных в нескольких десятках экземпляров,

то они не могли сознавать, что составляют общественный агрегат; который, составляют теперь читатели одной и той же газеты и даже иногда одного и того же модного романа. Была ли публика в средние века? Нет, но в эти времена были ярмарки, паломничества, беспорядочные скопища, охваченные благочестивыми или воинственными чувствами, гневом или паникой. Возникновение публики стало возможным не раньше начала широкого распространения книгопечатания в XVI в. Передача силы на расстоянии — ничто по сравнению с передачей мысли на расстоянии. Не есть ли мысль — социальная сила по преимуществу? Вспомните *idées-forces* Фулье. Когда Библия была в первый раз издана в миллионах экземпляров, то обнаружилось в высшей степени новое и богатое неисчислимыми последствиями явление, а именно благодаря ежедневному и одновременному чтению одной и той же книги, т. е. Библии, соединенная масса ее читателей почувствовала, что составляет новое социальное тело, отделенное от церкви. Но эта нарождающаяся публика сама еще была только отдельной церковью, с которой она смешивалась; слабость протестантизма и заключается в том, что он был одновременно публикой и церковью, двумя агрегатами, управляемыми различными принципами и по самому существу своему непримиримыми. Публика, как таковая, выделилась более ясно только при Людовике XIV. Но и в эту эпоху, если и были толпы, не менее стремительные, нежели теперь, и не менее значительные, при коронаваниях монархов, на больших празднествах, при бунтах, возникавших вследствие периодических голодовок, то публика составлялась из незначительного количества избранных «*honnêtes gens*», которые читали свой ежемесячный журнал, в особенности же книги, небольшое количество книг, написанных для небольшого количества читателей. И кроме того, эти читатели были по большей части сгруппированы, если не при дворе, то вообще в Париже.

В XVIII в. эта публика быстро растет и раздробляется. Я не думаю, чтобы до Бейля существовала философская публика, которая отличалась бы от большой литературной публики или начала от нее отделяться; я не могу назвать публикой группу ученых, хотя они и были объединены, несмотря на свою разбросанность по различным провинциям и государствам, однородными изысканиями и чтением одних сочинений; эта группа была так малочисленна, что они все поддерживали между собой письменные сношения и черпали в этих личных сношениях главную пищу для своего научного общения. Публика в специальном

смысле начинает обрисовываться с того, трудно поддающегося точному определению, момента, когда люди, преданные одной и той же науке, стали слишком многочисленны для того, чтобы лично сноситься друг с другом, и могли почувствовать завязывающиеся между ними узы солидарности только при помощи достаточно частых и регулярных сношений, не имеющих личного характера. Во второй половине XVIII в. зарождается политическая публика, растет и вскоре, разлившись, поглощает, как река свои притоки, все другие виды публики — литературную, философскую, научную. Однако, до революции жизнь публики была мало интенсивна сама по себе и получает значение только благодаря жизни толпы, с которой она еще связана вследствие необыкновенного оживления салонов и кафе.

Революция может считаться датой настоящего водворения журнализма и, следовательно, публики; революция — момент лихорадочного роста публики. Это не значит, что революция не возбуждала толпы, но в этом отношении она ничем не отличалась от прежних междоусобных войн в XIV, в XVI веке, даже в эпоху Фронды. Толпы фрондеров, толпы приверженцев Лиги, толпы приверженцев Кабоша — были не менее страшны и, может быть, не менее многочисленны, чем толпы 14 июля и 10 августа; толпа не может возрасти свыше известного предела, положенного свойствами слуха и зрения, не раздробившись тотчас же и не утратив способности к совместному действию; впрочем, действия эти всегда одинаковы; это — сооружение баррикад, разграбление дворцов, убийства, разрушение, пожары. Нет ничего более однообразного, как эти, повторяющиеся в течение веков, проявления ее деятельности. Но 1789 г. характеризуется явлением, которого не знали предыдущие эпохи, а именно огромным распространением газет, пожираемых с жадностью. Если некоторые из них и были мертворожденными, то зато другие представляют собою картину беспримерного распространения. Каждый из этих великих и ненавистных публицистов<sup>1</sup> Марат, Демулэн, отец Дюшен, имел свою публику; и эти толпы грабите-

---

<sup>1</sup> «Слово *публицист*, — говорит Литтре, — появляется в Академическом Словаре только начиная с 1762 г.» и фигурирует там, по его словам, — как еще и теперь в большинстве словарей — только в значении автора, пишущего о государственном праве. Смысл этого слова приходящем употреблении расширился только в течение нашего столетия, в то время как значение слова *публика* в силу той же причины все сужалось, по крайней мере, в том смысле, в каком я его употребляю.

лей, поджигателей, убийц, людоедов, опустошавших тогда Францию с севера до юга, с востока до запада, можно считать злокачественными наростами и сыпями тех групп публики, которым их злокозненные виночерпии, препровождаемые с триумфом в Пантеон после смерти, — подливали ежедневно губительный алкоголь пустых и яростных слов. Это не значит, что бунтующие толпы состояли даже в Париже, а тем более в провинциях и в деревнях, исключительно из читателей газет; но последние составляли в них если не тесто, то, по крайней мере, закваску. Точно так же клубы, собрания в кафе, сыгравшие такую важную роль во время революционного периода, родились от публики, между тем как до революции публика была скорее следствием, нежели причиной собраний в кафе и в салонах.

Но революционная публика была по преимуществу парижской публикой, вне Парижа она обозначалась не ярко. Артур Юнг во время своего знаменитого путешествия был поражен тем обстоятельством, что газеты так мало распространены даже в городах. Правда, это замечание относится к началу революции, немного позднее оно уже потеряло бы долю верности. Но до самого конца отсутствие быстрых сообщений ставило непреодолимое препятствие интенсивности и широкому распространению общественной жизни. Как могли газеты, приходящие только два-три раза в неделю и, притом, неделю спустя после своего появления в Париже, дать своим читателям на юге то впечатление злободневности и то сознание одновременной духовной общности, без которых чтение газеты не разнится по существу от чтения книги? На долю нашего века, благодаря усовершенствованным способам передвижения и моментальной передаче мысли на всякое расстояние, выпала задача — придать публике, всякого рода публике, беспредельное распространение, к которому она так способна, и которое создает между ней и толпой столь резкий контраст. Толпа — это социальная группа прошлого; после семьи она самая старинная из всех социальных групп. Она во всех своих видах — стоит ли или сидит, неподвижна или движется — не способна расширяться дальше известного предела; когда ее вожаки перестают держать ее *in manu*, когда она перестает слышать их голос, она распадается. Самая обширная из всех известных аудиторий — это аудитория Колизея; но и она вмещала в себя только сто тысяч человек. Аудитории Перикла или Цицерона, даже аудитория великих проповедников средних веков, вроде Петра Пустынника или св. Бернарда, были, без сомнения, значительно меньше. Также не замечается, чтобы могущество

красноречия, будь то политическое или религиозное, значительно подвинулось вперед в древности или в средние века. Но публика бесконечно растяжима, и так как по мере ее растяжения ее социальная жизнь становится более интенсивной, то нельзя отрицать, что она станет социальной группой будущего. Таким образом, благодаря соединению трех взаимно поддерживающих друг друга изобретений, книгопечатания, железных дорог и телеграфа, приобрела свое страшное могущество пресса, этот чудесный телефон, который так безмерно расширил древнюю аудиторию трибунов и проповедников. Итак, я не могу согласиться с смелым писателем, д-ром Лебоном, заявляющим, что наш век — это «эра толпы». Наш век — это эра публики или публик, что далеко не похоже на его утверждение.

### III

До известной степени публика сходна с тем, что называется *миром* — «литературный мир», «политический мир», и т. д.; разница лишь в том, что это последнее понятие предполагает личные сношения между лицами, принадлежащими к одному и тому же миру, как-то: обмены визитами, приемы, что может и не существовать между членами одной и той же публики. Но между толпой и публикой расстояние огромно, как мы уже видели, хотя публика частью и ведет свое начало от известного рода толпы, а именно от аудитории ораторов.

Между толпой и публикой существует много и других различий, которые я еще не выяснил. Можно принадлежать в одно и то же время, как это обыкновенно и бывает, к нескольким группам публики, как можно принадлежать к нескольким корпорациям или сектам но к толпе одновременно можно принадлежать только к одной. Отсюда гораздо большая нетерпимость толпы, а следовательно и тех наций, где царит дух толпы, потому что там человек захватывается целиком, неотразимо увлечен силой, не имеющей противовеса. И отсюда преимущество, связанное с постепенной заменой толпы публикой, превращение, сопровождающееся всегда прогрессом в терпимости или даже в скептицизме. Правда, сильно возбужденная публика может породить, как это иногда и случается, фанатические толпы, которые расхаживают по улицам с криками: *да здравствует* или *смерть* чему-либо. И в этом смысле публика могла бы быть определена как толпа в возможности. Но это падение публики до толпы, в высшей степени опасное, вообще случается довольно редко; и не

входя в обсуждение того, не будут ли, невзирая ни на что, эти порожденные публикой толпы менее грубы, чем толпы, образовавшаяся вне всякой публики, остается очевидным, что столкновение двух публик, всегда готовых слиться на своих неопределенных границах, представляет собой гораздо меньшую опасность для общественного спокойствия, нежели встреча двух враждебных толп.

Толпа, как группа более естественная, более подчиняется силам природы; она зависит от дождя или от хорошей погоды, от жары или от холода; она образовывается чаще летом, нежели зимой. Луч солнца собирает ее, проливной дождь рассеивает ее. Когда Балъи был парижским мэром, он благословлял дождливые дни и огорчался при виде проясняющегося неба. Но публика, как группа высшего разряда, не подвластна этим изменениям и капризам физической среды, времени года или даже климата. Не только зарождение и развитие публики, но даже крайнее возбуждение ее, эта болезнь, появившаяся в нашем веке и растущая все сильнее, не подвержены этим влияниям.

Наиболее острый кризис этого рода болезни, по нашему мнению, а именно дело Дрейфуса, свирепствовал во всей Европе в самый разгар зимы. Возбудило ли оно больше страстности на юге, нежели на севере, как случилось бы, если бы речь шла о толпе? Нет! Скорее оно наиболее волновало умы в Бельгии, в Пруссии, в России. Наконец, отпечаток расы гораздо менее отражается на публике, чем на толпе. И это не может быть иначе в силу следующего соображения.

Почему английский митинг так глубоко разнится от французского клуба, сентябрьская резня от африканских судилищ по закону Линча, итальянской праздник от коронации русского царя? Почему хороший наблюдатель по национальности толпы может почти с уверенностью предсказать, как она будет действовать — с гораздо большей уверенностью, чем предсказать, как поступит каждый из индивидуумов, составляющих ее — и почему, несмотря на огромные изменения, происшедшие в нравах и идеях Франции или Англии за последние три-четыре столетия, французские толпы нашего времени, буланжистские или антисемитические, похожи в стольких чертах на толпы приверженцев Лиги или Фронды, а нынешние толпы англичан — на толпы времен Кромвеля? Потому, что в образовании толпы индивидуумы участвуют только своими сходными национальными чертами, которые слагаются и образуют одно целое, но не своими индивидуальными отличиями, которые нейтрализуются; при составлении толпы

углы индивидуальности взаимно сглаживаются в пользу национального типа, который прорывается наружу. И это происходит вопреки индивидуальному влиянию вождя или вождей, которое всегда дает себя чувствовать, но всегда находит противовес во взаимодействии тех, кого они ведут.

Что же касается того влияния, какое оказывает на свою публику публицист, то оно если и является гораздо менее интенсивным в данный момент, зато по своей продолжительности оно более сильно, чем кратковременный и преходящий толчок, данный толпе ее предводителем. Мало того, влияние, которое оказывают члены одной и той же публики друг на друга, гораздо менее сильно, и никогда не противодействует, а, напротив, всегда содействует публицисту вследствие того, что читатели сознают одновременную тождественность своих идей, склонностей, убеждений или страстей, ежедневно раздуваемых одним и тем же мехом.

Можно — быть может, несправедливо, но с известным правдоподобием и видимым основанием, оспаривать ту мысль, что всякая толпа имеет вождя; и действительно, часто она сама ведет его. Но кто станет оспаривать, что всякая публика имеет своего вдохновителя, а иногда и создателя? Слова Сент Бёва, что «гений есть царь, создающий свой народ», особенно применимы к великому журналисту. Сколько публицистов создают себе публику!<sup>1</sup> Правда, для того чтобы возбудить антисемитическое движение, было необходимо, чтобы агитаторские усилия Эдуарда Дрюмона соответствовали известному умственному состоянию среди населения; но пока не раздался один громкий голос, давший общее выражение этому состоянию умов, оно оставалось чисто индивидуальным, мало интенсивным, еще в меньшей степени заразительным и не признавало само себя. Тот, кто выразил его, создал как бы коллективную силу, быть может искусственную, но тем не менее реальную. Я знаю французские области, где никто никогда не видал ни одного еврея, что не мешает антисемитизму процветать там, потому что там читаются антисе-

---

<sup>1</sup> Мне скажут, что если всякий великий публицист создает свою публику, то всякая сколько-нибудь значительная публика создает себе своего публициста. Это последнее предположение гораздо менее верно, чем первое: мы знаем очень обширные группы, которые в продолжение многих лет не могли выделить из своей среды писателя, способного помочь им ориентироваться. В таком положении находится в настоящее время католический мир.

митические газеты. Точно так же социалистическое или анархическое направление умов ничего не представляло собою, прежде чем его не выразили некоторые знаменитые публицисты, Карл Маркс, Кропоткин и др., и не пустили в обращение, дав ему свое имя. После этого легко понять, что на публике гораздо ярче отражается индивидуальный отпечаток ее создателя, нежели дух национальности, и что обратное справедливо относительно толпы. Точно так же не трудно понять, что публика одной и той же страны в каждом из своих главных разветвлений преобразовывается в очень короткий промежуток времени, если сменяются ее предводители, и что, например, современная социалистическая публика во Франции ни в чем не походит на социалистическую публику времен Прудона, в то время как французские толпы всякого рода сохраняют сходную физиономию в продолжение целых столетий.

Может быть возразят, что читатель какой-нибудь газеты располагает гораздо больше своей умственной свободой, нежели индивидуум, затерянный в толпе и увлекаемый ею. Он может в тишине обдумать то, что он читает, и, несмотря на его привычную пассивность, ему случается переменять газету до тех пор, пока он не найдет подходящую или такую, которую он считает для себя подходящей. С другой стороны, журналист старается ему понравиться и удержать его. Статистика увеличения и уменьшения подписки является великолепным термометром, с которым часто справляются, и который предупреждает редактора относительно того, каких действий и мыслей следует держаться. Такого характера указание обусловило в одном известном деле внезапный поворот одной большой газеты, и такое отречение не представляет собою исключения. Итак, публика реагирует временами на журналиста, но этот последний действует на свою публику постоянно. После некоторых колебаний читатель выбрал себе газету, газета собрала себе читателей, произошел взаимный подбор, отсюда — взаимное приспособление. Один наложил свою руку по своему вкусу на газету, которая угождает его предубеждениям и страстям, другая — на своего читателя, послушного и доверчивого, которым она легко может управлять при помощи некоторых уступок его вкусам — уступок, аналогичных ораторским предосторожностям древних ораторов. Говорят, что нужно бояться человека одной книги; но что значит он в сравнении с человеком одной газеты! А этот человек — в сущности каждый или почти каждый из нас. Вот где опасность нового времени. Итак, не препятствуя публицисту иметь на свою публику в конце



концов решительное влияние, этот двойной подбор, двойное приспособление, делающее из публики однородную группу, легко управляемую и хорошо известную писателю, позволяет последнему действовать с большей силой и уверенностью. Толпа вообще гораздо менее однородна, нежели публика: она всегда увеличивается благодаря массе любопытных, полусообщников, которые немедленно увлекаются и ассимилируются, но тем не менее затрудняют общее руководство разнородными элементами.

#### IV

Можно оспаривать эту относительную однородность под тем предлогом, что «мы никогда не читаем одной и той же книги», точно так же как «никогда не купаемся в одной реке». Но помимо спорного характера этого древнего парадокса, верно ли, что мы никогда не читаем одной газеты. Могут подумать, что так как газета более разнообразна, нежели книга, то вышеприведенное изречение к ней применимо еще в большей степени, чем к книге. А между тем в действительности каждая газета имеет свой гвоздь, и этот гвоздь, выделяясь все с большей и большей рельефностью, привлекает внимание всей массы читателей, загипнотизированных этой светящейся точкой. Действительно, несмотря на пестроту статей, каждый листок имеет свою видимую окраску, присущую ему, свою специальность, будь то порнографическая, диффаматорская, политическая или какая-либо другая, которой все остальное приносится в жертву, и на которую публика такого листка набрасывается с жадностью. Ловя публику на эту приманку, журналист по своему усмотрению ведет ее куда ему угодно.

Еще одно соображение. Публика в конце концов есть известный род коммерческой *клиентуры*, но род весьма своеобразный, стремящийся затмить всякий другой вид клиентуры. Уже одно то, что люди известного круга покупают продукты в магазинах одного разряда, одеваются у одной и той же модистки или портного, посещают один и тот же ресторан, — устанавливает между ними известную социальную связь и предполагает между ними сродство, которое укрепляется и подчеркивается этой связью. Каждый из нас, покупая то, что соответствует его потребностям, имеет более или менее смутное сознание, что этим самым он выражает и изъясняет свое единство с тем социальным классом, который питается, одевается, удовлетворяет себя во всем почти аналогичным образом. Экономический факт, один замеченный

экономистами, усложняется таким образом симпатическим отношением, которое заслуживало бы также их внимания. Они смотрят на покупателей одного продукта или одной работы только как на соперников, которые оспаривают друг у друга предмет своего желания; но эти покупатели являются в то же время людьми однородными, схожими между собой людьми, которые стремятся укрепить свое единство и выделиться из того, что не похоже на них самих. Их желание питается желанием других, и даже в их соревновании есть скрытая симпатия, заключающая в себе потребность роста. Но насколько глубже и интимнее та связь, которая возникает между читателями благодаря обычному чтению одной и той же газеты! Здесь никому не придет в голову говорить о конкуренции, здесь есть только общность внушенных идей и сознание этой общности — но не сознание этого внушения, которое, несмотря на то, остается очевидным.

Точно так же, как у всякого поставщика есть два вида клиентов: покупатели постоянные и покупатели случайные, у газет и журналов есть два сорта публики: публика постоянная, прочная, и публика случайная, непостоянная. Пропорция этих двух родов публики весьма неодинакова для различных листков; у старинных листков, органов старых партий не числится, или числится очень мало, публики второй категории, и я согласен, что здесь влияние публициста особенно затруднено вследствие нетерпимости той сферы, куда он попал и откуда будет изгнан при обнаружении малейшего разногласия. Но за то это влияние, раз оно достигнуто, становится продолжительным и глубоким. Заметим впрочем, что публика постоянная и привязанная по традиции к одной газете близка к исчезновению, она все более и более заменяется более непостоянной публикой, на которую влияние талантливой журналиста если и не так прочно, за то гораздо легче достижимо. Мы можем с полным правом пожалеть о такой эволюции журнализма, потому что постоянная публика создает честных и убежденных публицистов, тогда как изменчивая публика создает публицистов легкомысленных, изменчивых и беспокойных; но по-видимому, эта эволюция теперь неизбежна, почти бесповоротна, и мы видим все увеличивающиеся перспективы социального могущества, которые она открывает перед людьми пера. Может быть, она будет все более и более подчинять посредственных публицистов капризам их публики, но она наверное подчиняет все более и более деспотизму великих публицистов их порабощенную публику. Эти последние в гораздо большей степени чем государственные люди, даже самые высшие, творят мнение

и руководят миром. И когда они утвердятся, — как прочен их трон! Сравните столь быстрое изнашивание политических деятелей, даже самых популярных, с тем продолжительным и неразрушимым царствованием журналистов высокой пробы, которое напоминает долговечность какого-нибудь Людовика XIV или вечный успех знаменитых комиков и трагиков. Для этих самодержавных властителей нет старости.

Вот почему так трудно создать определенный закон для прессы. Это все равно, что мы захотели бы регламентировать суверенитет великого короля или Наполеона. Проступки, даже преступления прессы почти ненаказуемы, как были ненаказуемы проступки, совершенные на трибуне в древности и проступки на кафедре в средние века.

Если бы были правы поклонники толпы, постоянно повторяющие, что историческая роль отдельных индивидуальностей обречена на то, чтобы уменьшаться все более и более по мере того, как совершается демократическая эволюция общества, то следовало бы особенно удивляться увеличивающемуся день ото дня значению публицистов. Нельзя, однако, отрицать, что они в критических случаях творят общественное мнение, и если двое или трое из этих великих вождей политических или литературных групп захотят соединиться во имя одной цели, то как бы дурна она ни была, можно с уверенностью предсказать ей торжество. Замечательно то, что последняя из образовавшихся социальных группировок, группировка наиболее широко развивающаяся в ходе нашей демократической цивилизации, т. е. социальная группировка по разным видам публики, дает выдающимся индивидуальным характерам наибольшую возможность проявить себя, а оригинальным индивидуальным мнениям наибольший простор для распространения.

## V

Итак, достаточно открыть глаза, чтобы заметить, что разделение общества на разного рода публику, разделение чисто психологического характера, соответствующее различного рода состоянию умов, стремится хотя не заменить, конечно, но заслонить собою все с большей и большей очевидностью религиозное, экономическое, эстетическое экономическое и политическое подразделение общества на корпорации, секты, ремесла, школы и партии. Это не только разновидности прежней толпы, аудиторий трибунов и проповедников, в которых господствует или которые увеличивает

соответствующая публика, парламентская или религиозная; нет такой секты, которая не желала бы иметь свою собственную газету для того, чтобы окружить себя публикой, рассеянной далеко вне ее, создать нечто вроде атмосферической оболочки, в которую публика была бы погружена, нечто в роде коллективного сознания, которое озаряло бы ее. И, конечно, это сознание нельзя назвать просто *эпифеноменом*, который сам по себе недействителен и бездейтелен. Точно так же нет профессии, большой или незначительной, которая не желала бы иметь свою газету или свой журнал, как в средние века каждая корпорация имела своего священника, своего обычного проповедника, как в древней Греции каждый класс имел своего доверенного оратора. Разве первая забота каждой вновь основывающейся школы литературной или художественной не заключается в том, чтобы завести свою собственную газету и разве она будет считать полным свое существование без этого условия? Существует ли такая партия или часть партии, которая не поспешила бы шумно заявить себя в каком-нибудь периодическом, ежедневном издании, при помощи которого она надеется распространиться, при помощи которого она, без сомнения, укрепляется, пока она не преобразуется, не сольется или не раздробится? Партия без газеты не производит ли на нас впечатления безглавого чудовища, хотя для всех партий древности, средних веков, даже современной Европы до французской революции эта воображаемая чудовищность была естественна?

Это преобразование всех групп в разные виды публики объясняется все возрастающей потребностью общественности, которая делает необходимым правильное общение друг с другом членов ассоциации при помощи непрерывного течения общих сведений и возбуждений. Это преобразование неизбежно. И нужно рассмотреть те его последствия, которые, по всей вероятности, отразятся или отразились на судьбе таким образом преобразованных групп в смысле их долговечности, их прочности, их силы, их борьбы или их слияния.

В смысле долговечности и прочности старинные группировки, конечно, ничего не выигрывают при той перемене, о которой идет речь. Пресса делает неустойчивым все, до чего она касается, что она оживляет, и самое священное, самое неизменное на вид установление, лишь только оно подчинится общей господствующей моде на публичность, обнаруживает тотчас же явные признаки внутренних перемен, тщетно скрывааемых. Чтобы удостовериться в этой силе, в одно и то же время разрушительной и

возрождающей, которая присуща газете, достаточно только сравнить политические партии, существовавшие до журнализма, с современными политическими партиями. Не были ли они прежде менее страстны и более долговечны, менее живы и более упорны, менее податливы на попытки к обновлению или раздроблению? Вместо ториев и вигов, этой вековой антитезы, такой резкой и устойчивой, что существует в Англии в наши дни? Не было ничего редкостней в старой Франции, чем появление новой партии; в наше время партии находятся в состоянии беспрестанных изменений и самопроизвольного зарождения и возрождения. Все меньше и меньше беспокоятся или заботятся об их ярлыке, потому что всем хорошо известно, что если они достигнут власти, это произойдет только вместе с радикальной их переменой. Недалеко то время, когда от прежних наследственных и традиционных партий останется одно только воспоминание.

Относительная сила прежних социальных агрегатов также сильно видоизменяется благодаря вмешательству прессы. Прежде всего заметим, что она чрезвычайно мало благоприятствует преобладанию профессиональных классовых подразделений. Профессиональная пресса, посвященная ремесленным интересам, судебным, промышленным, земледельческим, имеет наименьшее количество читателей, она наименее интересна, наименее возбуждает, кроме тех случаев, когда под видом работы дело идет о стачке и о политике. Но пресса явно предпочитает и выделяет социальное разделение на группы по теоретическим идеям, идеальным стремлениям и чувствам. Она выражает — к чести для себя — интересы не иначе, как облекая их в теории и возвышая страстями; даже придавая им страстный характер, она одухотворяет и идеализирует их; и это преобразование, хотя иногда и опасное, в общем все-таки удачно. Пусть идеи и страсти вспениваются, сталкиваясь друг с другом, они все же более примиримы, чем интересы.

Религиозные или политические партии являются социальными группами, на которые газета производит наиболее сильное действие и которые она выдвигает на первый план. Мобилизованные в публику партии расстраиваются, вновь формируются, преобразовываются с такой быстротой, которая поразила бы наших предков. И нужно согласиться, что их мобилизация и их взаимная спутанность мало совместимы с регулярной деятельностью парламентаризма на английский лад; это — небольшое несчастье, но оно способно глубоко изменять парламентский режим. Партии в наше время то поглощаются и уничтожаются в несколько лет, то они размножаются в неслыханных размерах.

Они приобретают в этом последнем случае огромную, хотя скоропреходящую силу. Они принимают две черты, которых в них еще не знали: они становятся способными проникать одна в другую и делаться интернациональными. Они легко проникают одна в другую, потому что, как мы сказали выше, каждый из нас принадлежит или может принадлежать к публике нескольких видов одновременно. Они становятся интернациональными, потому что крылатое слово газеты без труда перелетает те границы, которые в былые времена никогда не мог перелететь голос знаменитейшего оратора, лидера партии<sup>1</sup>. Пресса дала парламентскому и клубному красноречию свои собственные крылья и носит его по всему свету. Если эта интернациональная широта партий, преобразованных в публику, делает их вражду более опасной, зато их взаимная пронизываемость и неопределенность их границ облегчает их союзы, даже безнравственные, и позволяет надеяться на конечное мирное соглашение. Следовательно, преобразование партии в публику, по видимому, мешает скорее их длительности, нежели согласию, их отдыху, нежели миру, и социальное движение, произведенное этим преобразованием, подготавливает скорее пути к социальному единству. Это настолько справедливо, что, несмотря на обилие и разнородность видов публики, существующих одновременно и перемешанных между собою в обществе, они все вместе как бы составляют одну общую публику благодаря их частичному согласию относительно некоторых важных пунктов; это есть то, что называется мнением, политическое значение которого все возрастает. В известные критические моменты в жизни народов, когда обнаруживается национальная опасность, это слияние, о котором я говорю, прямо поразительно и почти полно; и тогда мы видим, как нация, социальная группа *par excellence*, преобразовывается, как и все другие, в одну огромную связку лихорадочно настроенных читателей, с жадностью поглощающих депеши. Во время войны как будто не существует ни классов, ни ремесел, ни синдикатов, ни партий, ни одной из социальных группировок Франции, кроме французской армии и «французской публики».

---

<sup>1</sup> Публика некоторых больших газет, как «Times», «Figaro» и некоторых больших журналов, рассеяна по всему свету. *Виды публики* — религиозный, научный, экономический, эстетический, *постоянно* по существу своему интернациональны; *толпы* — религиозные, научные и т. д. только изредка бывают интернациональными под видом конгрессов. Да и конгрессы могли стать интернациональными только потому, что на этом пути им предшествовала соответствующая публика.

Из всех социальных агрегатов в наиболее тесном отношении с публикой находится толпа. Хотя публика часто и представляет собой только увеличенную и рассеянную аудиторию, все же мы видели, что между нею и толпой существуют многочисленные и характерные различия, которые доходят даже до того, что устанавливают нечто вроде обратного отношения между прогрессом толпы и прогрессом публики. Правда, возбужденная публика порождает мятежные сборища на улицах; и как одна и та же публика может быть распространена на обширной территории, так же точно возможно, что порожденные ею шумные массы соберутся сразу в нескольких городах, будут кричать, грабить, убивать. Так и случалось<sup>1</sup>. Но чтобы все толпы слились, если не существует публики, — этого не случается. Предположим, что уничтожены все газеты и вместе с ними их публика, разве население не обнаружило бы гораздо более сильное, нежели теперь, стремление группироваться в более многочисленные и тесные аудитории вокруг профессорских, даже проповеднических кафедр, наполнять публичные места, кафе, клубы, салоны, читальни, не говоря уже о театрах, и вести себя повсюду гораздо более шумно?

Мы забываем обо всех этих прениях в кафе, в салонах, в клубах, от которых нас гарантирует полемика в прессе — противоядие относительно безобидное. Действительно, в публичных собраниях число слушателей, вообще, идет на убыль или, по крайней мере, не возрастает, и наши ораторы, даже самые популярные, далеки от притязаний на успех Абеяра, который увлекал за собою тридцать тысяч учеников до самой глубины печальной долины Параклета. Даже когда слушатели так же многочисленны, они не так внимательны, как это было до книгопечатания, когда последствия невнимания были неисправимы.

В амфитеатрах нашего университета, в настоящее время пустых на три четверти, не видно больше прежнего стечения слушателей и прежнего внимания. Большинство из тех, которые преж-

---

<sup>1</sup> Можно даже сказать, что каждая публика обрисовывается природой той толпы, которую она порождает. Религиозная публика обрисовывается паломничествами в Лурд, светская публика — поездками в Лоншан, балами, празднествами, публика литературная — театральными аудиториями, приемами во Французской академии, публика промышленная — своими стачками, публика политическая — своими избирательными союзами, своими палатами депутатов, публика революционная — своими бунтами и баррикадами...

де с страстным любопытством выслушали бы какую-нибудь речь, говорят теперь: «Я это прочту в своей газете»... И таким образом мало-помалу публика вырастает, а толпа уменьшается, что еще быстрее уменьшает ее значение.

Куда давались времена, когда святое красноречие апостола, вроде Колумбана или Патрика, побуждало целые народы, прикованные к их устами? Теперь великие обращения масс совершаются журналистами.

Итак, какова бы ни была природа тех групп, на которые дробится общество, имеют ли они характер религиозный, экономический, политический, даже национальный, публика в некотором роде представляет собою их окончательное состояние, их, так сказать, общий знаменатель; все возвращается к этой чисто психологической группе состояния умов, способной на непрерывные изменения. И замечательно, что профессиональный агрегат, основанный на взаимной эксплуатации и взаимном приспособлении желаний и интересов наиболее захвачен этим цивилизирующим преобразованием. Несмотря на все различие, которое мы отметили, толпа и публика, эти два крайние полюса социальной эволюции<sup>1</sup> имеют следующее сходство: связь различных индивидуумов, входящих в их состав, заключается не в том, чтобы они *гармонизировали* друг с другом своими особенностями, своими специальными взаимно полезными качествами, но в том, чтобы взаимно отражаться друг на друге, слиться своими природными или приобретенными сходными чертами в простой и могущественный *унисон* (но насколько с большей силой в публике, нежели в толпе!) — вступить в общение идей и страстей, которое, однако, дает полный простор их индивидуальным различиям.

## VI

Показав зарождение и рост публики, отметив ее характерные черты, сходные или несходные с характерными чертами толпы, и выяснив ее генеалогическое отношение к различным социальным группам, постараемся сделать классификацию ее разновидностей по сравнению с разновидностями толпы.

Можно классифицировать публику, как и толпу, с весьма различных точек зрения; в отношении пола есть публика мужская и

---

<sup>1</sup> Семья и орда являются двумя точками отправления этой эволюции. Но орда, эта грубая шайка грабителей, представляет собою только толпу в движении.



женская, точно так же, как существует мужская и женская толпа. Но женская публика, состоящая из читательниц модных романов и стихов, модных газет, феминистских журналов и т. п., отнюдь не похожа на толпу того же пола. Она имеет совершенно другое численное значение и по своему характеру более безобидна. Я не говорю о женских аудиториях в церкви, но когда они случайно собираются на улицах, они всегда ужасают необыкновенной силой своей экзальтации и кровожадности. Следует перечитать Янсена и Тэна по этому вопросу. Первый рассказывает нам о никоей Гофман, мужеподобной ведьме, которая в 1529 году предводительствовала шайками крестьян и крестьянок, составших вследствие лютеранской проповеди. «Она вся дышала пожарами, грабежами и убийствами» и произносила заклинания, которые должны были сделать неуязвимыми ее бандитов и которые фанатизировали их. Второй изображает нам поведение женщин, даже молодых и красивых, 5-го и 6-го октября 1789 года. Они только и говорят о том, чтобы разорвать на части, четвертовать королеву, «съесть ее сердце», сделать кокарды из ее драгоценностей; у них являются только каннибальские идеи, которые они, по видимому, осуществляют. Значит ли это, что женщины, несмотря на их кажущуюся кротость, таят в себе дикие инстинкты, смертоносные склонности, пробуждающиеся при их соединении в толпу? Нет, ясно, что при соединении женщин в толпу происходит подбор всего, что есть в женщинах наиболее наглое, наиболее смелое, я сказал бы, наиболее мужского. *Corruptio optimi pessima*. Конечно, для того чтобы читать газету даже жестокую и наглую, не нужно столько наглости и распущенности, и отсюда, без сомнения, лучший состав женской публики, носящей, вообще, более эстетический, нежели политический характер.

В смысле возраста, толпы молодежи — мономы или мятежные скопища студентов или парижских гаменов — имеют гораздо большее значение, нежели юношеская публика, даже литературная, которая никогда не имела серьезного влияния. Наоборот, старческая публика ведет все дела там, где старческие толпы не принимают никакого участия. При помощи этой незаметной *геронтократии* устанавливается спасительный противовес *эфебократии* избирательных толп, где преобладает молодой элемент, не успевший еще пресытиться избирательным правом... Впрочем, старческие толпы необыкновенно редки. Можно было бы назвать некоторые шумные соборы старых патриархов в первые времена Церкви или некоторые бурные заседания древнего и

современного сената как примеры несдержанности, до которой собравшиеся старцы могут увлечься, как примеры коллективного молодого задора, который им случается обнаружить, когда они соберутся вместе. По-видимому, стремление собираться в толпу идет, все возрастая, от детского возраста до полного расцвета молодости, а потом, все уменьшаясь, от этого возраста до старости. Не так дело обстоит с склонностью соединяться в корпорации, которая только зарождается в первой молодости и все усиливается до зрелого возраста и даже до старости.

Толпы можно различать по времени, сезону, широте... Мы уже сказали, почему это различие неприменимо к публике. Влияние физических сил на образование и развитие публики сводится почти к нулю, тогда как оно всецело над зарождением и поведением толпы. Солнце является одним из главных элементов, разжигающих толпу; летние толпы имеют гораздо более горячий характер, нежели зимние. Может быть, если бы Карл X подождал декабря или января для опубликования своих пресловутых ордонансов, результат был бы совсем другой. Но влияние расы, разумея под этим словом национальность, имеет не меньшее значение для публики, чем для толпы, и на складе характера французской публики сильно сказывается *furia francese*.

Несмотря на все это, самое важное различие, которое мы должны сделать между различными видами публики, как и между различными видами толпы — это то, которое вытекает из самого существа их *цели* или их *веры*. Люди, идущие по улице, каждый по своим делам, крестьяне, собравшиеся на ярмарочную площадь, гуляющие могут образовывать очень тесное скопище, но это будет только простая сутолока до того момента, пока общая вера или общая цель взволнует их или сдвинет их вместе. Как только новое зрелище привлечет их взгляды и их умы, как только непредвиденная опасность или внезапное негодование направит их сердце к одному и тому же желанно, они начинают послушно соединяться, и эта первая ступень социального агрегата и есть толпа. — Точно так же можно сказать: читатели, даже постоянные, какой-нибудь газеты, пока они читают только объявления и практические сведения, относящиеся к их частным делам, не составляют публики; и если бы я мог думать, как иногда предполагают, что газете объявлений суждено увеличиваться в ущерб газете-трибуне, то я поспешил бы уничтожить все, что выше написано мною относительно социальных преобразований, произведенных журнализмом. Но ничего подобного не существует,

даже в Америке<sup>1</sup>. Таким образом, только с того момента, когда читатели одной и той же газеты начинают увлекаться идеей или страстью, проникающей ее, они действительно составляют публику.

Итак, мы должны классифицировать толпы, точно так же как и публику, прежде всего, по характеру цели или веры, которая их одушевляет. Но прежде всего разделим их сообразно с тем, что берет в них перевес: вера и идея, или же цель, желание. Есть толпы верующие и толпы активно желающие, публика верующая и публика активно желающая; или скорей — так как у людей, собравшихся вместе или даже соединенных издали, всякая мысль или желание быстро достигает высшего напряжения — есть толпа или публика убежденная, фанатическая, и толпа или публика страстная, деспотическая. Остается только выбирать между этими двумя категориями. Мы должны, однако, согласиться, что публика менее склонна к утрированию, нежели толпа, она менее деспотична и менее догматична, но ее деспотизм или догматизм хотя и не выражен в такой острой форме, зато гораздо прочнее и постояннее деспотизма или догматизма толпы.

Верующая или активно желающая толпа опять-таки различается по природе той корпорации или секты, к которой она примыкает, и это различие применимо также к публике, которая, как мы знаем, всегда ведет свое начало от организованных социальных групп, представляя собою их неорганическое преобразование<sup>2</sup>. Но займемся на время одними только толпами. Толпу, эту аморфную группу, с виду зарождающуюся самопроизвольно,

---

<sup>1</sup> В своем прекрасном труде о *Принципах Социологии* американец Гиддингс между прочим говорит о той огромной роли, которую сыграли газеты в войне из-за отпадения Южных штатов, и по этому поводу он опровергает ходячее мнение, которое гласит, что «пресса может впредь топить всякое индивидуальное влияние ежедневным наводнением *безличных* мнений...» Пресса, говорит он, «производила свой максимум влияния на общественное мнение, когда она говорила голосом какой-нибудь выдающейся личности вроде Гаррисона или Грилея. Более того, публика не отдает себе хорошенько отчета в том, что *идейный человек*, неизвестный большой публике, хорошо известен в газетных бюро своим товарищам и впечатлевает свою индивидуальность на их мыслях и произведениях».

<sup>2</sup> Новое доказательство того, что связь органическая и связь социальная совершенно различны между собой, и что прогресс последней отнюдь не требует прогресса первой.

в действительности всегда порождает какое-нибудь социальное тело, некоторые члены которого служат ей ферментом и дают ей свою окраску<sup>1</sup>. Таким образом, не будем смешивать состоящие из родственников средневековые сельские толпы, собиравшиеся около сюзеренов и служившие их страстям, с средневековыми же толпами изуверов, собранных проповедями монахов и громко исповедовавших свою веру на больших дорогах. Мы не спутаем толпы богомольцев, идущих процессиями в Лурд под предводительством духовенства, с революционными и неистовыми толпами, поднятыми каким-нибудь якобинцем, или с жалкими и голодными толпами стачечников, ведомых синдикатом. Сельские толпы приводятся в движение с большим трудом, но раз уже двинувшиеся, они гораздо более страшны; ни один бунт в Париже не может сравниться по своим опустошительным действиям с жакерией. Религиозные толпы безвреднее всех; они становятся способны на преступление только тогда, когда столкновение с толпой диссидентов и враждебных манифестантов оскорбляет их нетерпимость, не превосходящую, но равную только нетерпимости всякой другой толпы. Индивидуумы могут быть либеральны и терпимы каждый в отдельности, но соединенные вместе, они становятся властными и тираническими. Это зависит от того, что верования возбуждаются при взаимном столкновении, и нет такого сильного убеждения, которое переносило бы противоречие. Этим, например, объясняется резня ариан католиками и католиков арианами, которая в IV веке наводняла кровью улицы Александрии. — Толпы политические, по большей части городские, бывают наиболее страстны и наиболее яростны, но, по счастью, они изменчивы и переходят с необыкновенной легкостью от ненависти к обожанию, от взрыва ярости к взрыву веселости. — Экономические, промышленные толпы, так же как и сельские, гораздо однороднее других, они гораздо единодушнее и упорнее в своих требованиях, более массивны и сильны, но при высшем напряжении своей ярости, скорее склонны к материальным разрушениям, нежели к убийству.

Толпы эстетические — которые вместе с толпами религиозными одни могут быть отнесены к разряду верующих — не знаю почему, находились в пренебрежении. Я называю так те толпы,

---

<sup>1</sup> Это справедливо даже тогда, когда она, как я сказал выше, является как бы новообразованием на публике, так как сама публика есть преобразование организованной социальной группы, партии, секты, корпорации.

которые собирает какая-нибудь старая или новая литературная или художественная школа во имя или против какого-либо произведения, драматического например, или музыкального. Это, может быть, самые нетерпимые толпы именно вследствие произвольности и субъективности провозглашаемых ими суждений, основанных на вкусе. Они испытывают желание видеть распространение своего энтузиазма по отношению к тому или другому художнику, к Виктору Гюго, к Вагнеру, к Золя, или, наоборот, своего отвращения к Золя, к Вагнеру, к Виктору Гюго с тем большей настоятельностью, что это распространение эстетической веры является почти единственным ее оправданием. Точно так же, когда они сталкиваются с противниками, тоже образовавшими толпу, может случиться, что их гнев кончится кровопролитием. Разве не текла кровь в XVIII. веке во время борьбы сторонников и противников итальянской музыки?

Но как ни разнятся толпы друг от друга по своему происхождению и по всем своим другим свойствам, некоторыми чертами они все похожи друг на друга; эти черты — чудовищная нетерпимость, забавная гордость, болезненная восприимчивость, доводящее до безумия чувство безнаказанности, рожденное иллюзией своего всемогущества и совершенная утрата чувства меры, зависящая от возбуждения доведенного до крайности взаимным разжиганием. Для толпы нет середины между отвращением и обожанием, между ужасом и энтузиазмом, между криками *да здравствует!* или *смерть!* *Да здравствует*, это значит, *да здравствует навеки*. В этом крике звучит пожелание божественного бессмертия, это начало апофеоза. И достаточно мелочи, чтобы обожествление превратилось в вечное проклятие.

И мне кажется, многие из этих различий и понятий могут быть приложимы и к разного рода публике с тем, однако, что отмеченные черты здесь выступают не так резко. Публика, так же как и толпа, бывает нетерпима, горда, пристрастна, самонадеянна и под именем *мнения* она разумеет, чтобы все ей покорялось, даже правда, — если она ей противоречит. Не заметно ли также, что по мере того, как групповой дух, дух публики, если не толпы, развивается в наших современных обществах вследствие ускорения умственного обмена, чувство меры исчезает в них все больше и больше. Там превозносят и унижают с одинаковой стремительностью и людей и произведения. Сами литературные критики, делая из себя послушное эхо таких склонностей своих читателей, почти не могут больше ни оттенить, ни соразмерить своих оценок: они тоже или превозносят, или *оплевывают*. Как

мы уже далеки от ясных суждений какого-нибудь Сент-Бева! В этом смысле публика, как и толпа, напоминает отчасти алкоголика. И в действительности сильно развитая коллективная жизнь является для мозга страшным алкоголем.

Но публика разнится от толпы тем, что каково бы ни было ее происхождение, пропорция идейной и верующей публики сильно преобладает над публикой страстной и действующей, между тем как верующая и идеалистическая толпы ничто в сравнении с толпами охваченными страстью и все сокрушающими. Не только публика религиозная или эстетическая, первая порождение церкви, вторая — художественных школ, соединена общим *credo* или идеалом, но также и публика научная, публика философская в ее многочисленных видоизменениях, и даже публика экономическая, которая, выражая требования желудка, идеализирует их.... Таким образом, благодаря превращению всех социальных групп в разные виды публики, мир идет по пути интеллектуализации. Что же касается активных видов публики, то можно было бы подумать, что они, собственно говоря, совсем не существуют, если бы не было известно, что рожденные от политических партий, они отдают государственным людям свои приказания, внушенные какими-нибудь публицистами... Сверх того, так как действие публики более разумно и более осмысленно, то оно может быть и бывает часто более плодотворно, нежели действие толпы<sup>1</sup>.

## VII

Это легко можно доказать. Что бы ни составляло главную причину ее образования, общность ли верований или желаний, толпа

---

<sup>1</sup> Отметим другое различие. Публика заявляет о своем существовании под видом полемики в прессе, и тогда мы присутствуем при борьбе двух групп публики, которая так часто сводится к поединку их публицистов. Но чрезвычайно редко случается, чтобы две толпы вступили в бой, как, по словам Ларрумэ, бывает иногда в Иерусалиме во время процессий. Толпа любит идти одна разворачивать свою силу и всей ее тяжестью налечь на побежденного, без боя. Иногда, правда, случаются схватки между регулярным войском и толпой, которая разбегается, если она слабее его, и осиливает его и режет, если она сильнее. Точно так же в парламенте мы видим не две, а одну двухголовую толпу, разделившуюся между двумя партиями, которые сражаются словесно или же кулаками, как в Вене... и даже в Париже.

может существовать в четырех видах, которые показывают различную степень ее пассивности или активности. Бывает толпа *ожидаящая, внимающая, манифестантская* или *действующая*. Публика представляет собой те же разновидности.

Толпы ожидающие — это те, которые, собравшись в театре перед поднятием занавеса или вокруг гильотины перед прибытием осужденного, ожидают, чтобы занавес поднялся или чтобы осужденный прибыл; или же те, которые, прибежав навстречу королю, царственному гостю или поезду, который должен привезти популярного человека, трибуна или победоносного генерала, ожидают царственного кортежа или прибытия поезда. Коллективное любопытство в этих толпах достигает неслыханных размеров без малейшего отношения к предмету этого любопытства, иногда совершенно незначительному. Это любопытство в толпе гораздо более сильно и преувеличено, нежели в ожидающей публике, где оно поднимается, однако, очень высоко, когда миллионы читателей, возбужденных сенсационным делом, находятся в ожидании вердикта или приговора, или просто какой-нибудь новости. Самый нелюбопытный, самый серьезный человек, если ему случится попасть в такую лихорадочно настроенную толпу, спрашивает себя, что удерживает его тут, несмотря на неотложные занятия, какую странную необходимость он чувствует сейчас, как и все вокруг него, видеть, как проедет экипаж императора или вороной конь генерала. Вообще нужно заметить, что ожидающие толпы гораздо более терпеливы, чем отдельные индивидуумы в подобном же состоянии. Во время франко-русских празднеств огромные толпы парижан неподвижно простаивали по три, по четыре часа, плотно стиснутые, без малейшего признака неудовольствия, вдоль пути, по которому должен был проследовать царский кортеж. Время от времени какой-нибудь экипаж был принимаем за начало кортежа, но как только ошибка обнаруживалась — все снова принимались ждать, и ни разу, по-видимому, эти заблуждения и ошибки не могли произвести своего обыкновенного действия — раздражения. Известно также, как много времени проводят под дождем и даже ночью толпы любопытных в ожидании большого военного смотра. Наоборот, часто бывает в театре, что та же самая публика, которая спокойно покорила незаконному запозданию, вдруг раздражается и не желает больше терпеть отсрочки ни на одну минуту. Почему толпа бывает всегда более терпелива или более нетерпелива, нежели отдельный индивидуум? В обоих случаях это объясняется одной и той же психологической причиной — взаимным зараже-

нием чувствами собравшихся индивидуумов. Пока в собрании не раздалось какого-либо проявления нетерпения, топота, крика, стука тростями — а ничего подобного, естественно, не случается, когда это ни к чему не может послужить, например, перед казнью или смотром — каждый находится под впечатлением веселого или покорного вида своих соседей и бессознательно рефлектирует их веселость или покорность. Но если кто-нибудь — когда это может сократить запоздание, в театре например, — начнет проявлять нетерпение, ему мало-помалу все начинают подражать, и нетерпение каждого в отдельности удваивается нетерпением других. Индивидуумы в толпе вдруг достигают высшей степени взаимного морального притяжения и взаимного физического отталкивания (антитез, не существующий для публики). Они толкают друг друга локтями, но в то же самое время они, видимо, желают выразить только согласие с чувствами соседей и в разговорах, которые иногда возникают между ними, они стараются понравиться друг другу без различия положений и классов.

Толпы внимательные — это те, которые тесно толпятся около кафедры проповедника или профессора, около трибуны, эстрады или перед сценой, где разыгрывается патетическая драма. Их внимание, точно так же как и их невнимание, проявляется всегда гораздо сильнее и настойчивее, нежели проявлялось бы внимание или невнимание каждого входящего в их состав отдельного индивидуума, если бы он был один. По поводу толпы, о которой идет речь, один профессор сделал мне замечание, показавшееся мне справедливым. «Аудитория из молодых людей, — сказал он мне, — на юридическом или на каком-либо другом факультете всегда внимательна и почтительна, если она немногочисленна; но если вместо двадцати или тридцати их соберется целая сотня, две-три сотни, они часто перестают уважать и слушать своего профессора, и тогда очень часто поднимается шум. Разделите на четыре группы, по двадцати пяти человек в каждой, сотню непочтительных и буйных студентов, и вы получите четыре аудитории, полные внимания и почтения». — Это значит, что горделивое чувство их многочисленности опьяняет собравшихся людей и заставляет их презирать одиноко стоящего человека, который говорит им, если только ему не удастся ослепить и «очаровать» их. Но нужно прибавить, что если очень многочисленная аудитория отдалась во власть оратора, она бывает тем почтительнее и внимательнее, чем она обширнее.

Еще замечание. В толпе, заинтересованной каким-нибудь зрелищем или речью, только небольшое количество зрителей или



слушателей видит и слышит очень хорошо, многие видят и слышат только наполовину или же совершенно ничего не видят и не слышат; и между тем, как бы плохо они ни поместились, как бы дорого ни стоило их место, они бывают удовлетворены и не жалеют ни своего времени, ни денег. Например, эти люди два часа ожидали прибытия царя, который, наконец, проехал. Но, стиснутые позади нескольких рядов людей, они ничего не видели; все их удовольствие состояло в том, что они могли слышать шум экипажей, более или менее выразительный, более или менее обманчивый. И однако, возвратившись домой, они описывали это зрелище весьма добросовестно, как будто они сами были его очевидцами, потому что, в действительности, они видели его глазами других. Они очень были бы удивлены, если бы им сказали, что провинциал, который за двести миль от Парижа глядел в своей иллюстрированной газете на моментальную фотографию с царского поезда, был в большей степени очевидцем, чем они. Почему же они убеждены в противном? Потому что, в сущности говоря правду, в таких случаях сама толпа, собственно, служит зрелищем для себя самой. Толпа привлекает и порождает толпу.

Между толпами более или менее пассивными, о которых мы только что говорили, и толпами активными толпы манифестантские занимают срединное положение. Что бы они ни проявляли — свое убеждение, свою страстную любовь или ненависть, радость или печаль, — они всегда проявляют это со свойственным им преувеличением. Можно отметить в них двойкий характер, в котором есть что-то женское: замечательно выразительный символизм в соединении с крайней бедностью воображения при изобретении этих символов, которые всегда бывают одни и те же и повторяются до пресыщения. Идти процессией с хоругвями и со знаменами, со статуями, с мощами, иногда с отрезанными головами на концах пик, кричать *виват* или просто испускать вопли, петь гимны или песни — вот приблизительно все, что они могли изобрести для выражения своих чувств. Но если у них мало идей, то зато они держатся за них крепко и без усталости кричат одно и то же, возобновляют одну и ту же прогулку. — Публика, дойдя до известной степени возбуждения, тоже становится манифестантской. Она проявляет себя не только косвенным образом, порождая соответствующие толпы, но, прежде всего, непосредственно в захватывающем влиянии, подчиняющем себе самих тех, кто привел ее в движение и не может больше остановить, в тех потоках лиризма или брани, лести или

клеветы, утопического бреда или кровожадной ярости, которые льются по ее желанию из-под пера ее послушных публицистов, из господ превратившихся в крепостных. И ее манифестации гораздо более разнообразны и опасны, нежели манифестации толпы, и приходится пожалеть об изобретательном уме, который в известные моменты тратится на остроумные выдумки, на басни, похожие на правду, беспрестанно изобличаемые, беспрестанно возрождающиеся ради одного удовольствия поднести каждой публике желаемое блюдо, выразить то, что она считает за правду, или в чем она *хочет* видеть правду.

Перейдем к толпам действующим. Но что, однако, могут сделать толпы? Несомненно, они могут уничтожать, разрушать, но что могут они создать со своей внутренней несвязностью и беспорядочностью своих усилий? Корпорации, секты, организованные ассоциации разрушительны, но столь же и производительны. «*Frères pontifes*» в средние века строили мосты, монахи на Западе возделывали целые области, основывали города, иезуиты в Парагвае сделали наиболее любопытную попытку фаланстерийской жизни из всех когда-либо предпринимавшихся; корпорации масонов воздвигли большинство наших соборов. Но можно ли назвать хоть один дом, построенный толпой, землю, распаханную и возделанную толпой, какую-либо промышленность, созданную толпой? За несколько тощих деревьев свободы, которые они посадили, сколько выжженных лесов, разграбленных гостиниц, разрушенных дворцов! За одного популярного узника, которого они иногда освобождали, сколько казней по суду Линча, сколько тюрем, взятых приступом американскими или революционными массами с целью избиения узников ненавистных, возбуждающих зависть или страх!

Можно разделить действующие толпы на толпы любящие и толпы ненавидящие. Но на какое дело, действительно плодотворное, употребляют свои силы любящие толпы? Неизвестно еще, что более губительно: ненависть ли толпы или любовь, проклятия ли или энтузиазм. Когда она рычит, охваченная безумием каннибалов, она, правда, ужасна; но когда она в порыве обожания бросается к ногам одного из своих человеческих идолов, когда она распрягает его экипаж, как на щите, поднимает его на своих плечах, то предметом ее обожания, порождающего диктатуры и тирании, является чаще всего полусумасшедший вроде Мазаньелло, дикий зверь вроде Марата или шарлатан в роде генерала Буланже. Даже тогда, когда она устраивает безумные овации нарождающемуся герою, каков был Бонапарт, возвращавшийся

из Италии, она только готовит ему гибель, непомерно возбуждая в нем гордость, которая гонит его гений к безумию. Но она особенно проявляет свой энтузиазм по отношению к таким людям как Марат. Апофеоз этого чудовища, культ воздвигнутый его «священному сердцу», выставленному в Пантеоне, являются блистательным образцом силы взаимного ослепления, общей галлюцинации, на которую способны люди, собравшиеся вместе. В этом непреодолимом увлечении играла известную роль и трусость, но в общем очень маленькую и как бы потонувшую в общей искренности.

Но потороплюсь сказать, что есть разновидность любящей толпы, очень распространенная, которая играет одну из наиболее необходимых и спасительных социальных ролей и служит противовесом всему злу, причиненному сборищами других видов. Я имею в виду праздничную толпу, радостную, любящую себя самое, опьяненную единственно удовольствием собираться для того, чтобы собираться. Здесь я спешу отказаться от всего, что есть материалистического и узкого в словах, сказанных выше о непроизводительном характере толпы. Конечно, производительность заключается не только в постройке домов, фабрикации мебели, одежды или съестных припасов; и социальный мир, социальное единение, поддерживаемое народными празднествами, пирушками, периодическими увеселениями целой деревни или целого города, когда всякое разногласие сглаживается одним общим желанием, желанием видеть друг друга, соприкоснуться, симпатизировать друг другу, этот мир, это единение суть продукты не менее драгоценные, чем все плоды земные, чем все предметы промышленности. Даже празднества федерации в 1790 г., этого кратковременного затишья между двумя циклонами, произвели на время успокоительное влияние. Прибавим еще, что патриотический энтузиазм — другая разновидность любви к коллективному, национальному я — также часто поселял благородное настроение в толпе, и если он не заставляет ее выигрывать сражение, он иногда делает несокрушимым вдохновение войск, возбужденных им.

Забудем ли мы, наконец, после праздничных толп траурные толпы — те, которые под гнетом общего горя идут за погребальным шествием друга, великого поэта, национального героя? Они в такой же степени являются энергическими возбудителями социальной жизни; и этими горестями, так же как этими радостями, испытываемыми вместе, народ научается образовывать одно целое из всех желаний.

Вообще, толпы в их совокупности далеко не заслуживают того дурного мнения, которое высказывалось относительно их, и которое при случае мог высказать и я сам. Если мы взвесим, с одной стороны, ежедневное и универсальное действие любящей толпы, особенно же праздничных толп, а с другой — перемежающееся и местное действие ненавидящих толп, то мы должны будем признать с полным беспристрастием, что первые гораздо более содействовали сотканию и скреплению социальных уз, нежели вторые — разрыву местами этой ткани. Вообразим себе страну, где никогда не было ни бунтов — всякого рода яростно-злых восстаний, но где в то же время не известны ни публичные празднества, ни веселые уличные манифестации, ни взрывы народного энтузиазма: эта плоская и бесцветная страна была бы без сомнения гораздо менее пропитана глубоким чувством своей национальности, нежели страна, наиболее волновавшаяся политическими смутами, даже убийствами, но которая в промежутках между этими бедствиями, подобно средневековой Флоренции, сохранила традиционную привычку к большому религиозному или светскому общению, к общему веселью, играм, процессиям, сценам во время карнавала. Таким образом, толпы, сборища, столкновения, обоюдные увлечения людей гораздо более полезны, нежели вредны для развития общественности. Но и здесь, как везде, *видимое* мешает думать о *невидимом*. Отсюда, без сомнения, проистекает обычная суровость социолога по отношению к толпам. Добрые последствия любовных и радостных толп скрываются в сердечных тайниках и живут там много времени спустя после празднества, в виде большего расположения к симпатии и примирению, которое выражается тысячью незаметных способов в жестах, в словах, во всех ежедневных житейских отношениях. Наоборот антисоциальное действие ненавистнических толп бросается всем в глаза, и зрелище произведенных ими преступных разрушений надолго переживает их, заставляя проклинать их память.

Можно ли говорить о *действующей публике*, не злоупотребляя метафорами? Не является ли публика, эта рассеянная толпа, пассивной по самому своему существу?

В самом деле, поднявшись до известного тона экзальтации, относительно которого ее публицисты бывают предупреждены благодаря своей ежедневной привычке *выслушивать* ее, она действует через их посредство точно так же, как манифестирует через них, оказывает давление на государственных людей, которые становятся исполнителями ее воли. Это — то, что называется

могуществом общественного мнения. Правда, что она особенно свидетельствует о могуществе ее вожаков, которые привели ее в движение; но раз тронутая с места, она увлекает их на пути, которых они не предвидели. Таким образом это действие публики есть прежде всего обратное действие на ее публициста; иногда это обратное действие имеет страшную силу; публицист подвергается таким образом давлению публики, вызванному его же возбуждающими действиями.

Впрочем, это действие чисто духовное, каковой в действительности является и сама публика. Так же как и толпу, ее в ее действии вдохновляет любовь или ненависть; но в отличие от действия толпы, ее действие, если оно внушено любовью, часто имеет вид прямой продуктивности, потому что оно более обдуманно и рассчитанно даже в его неистовствах. То добро, которое оно приносит, не ограничивается повседневным проявлением общественной симпатии между индивидуумами, которая возбуждается чувствами духовного соприкосновения, повторяющегося ежедневно. Оно породило некоторые хорошие законы взаимной помощи и милосердия. Если радости и печали публики и не имеют ничего периодического и установленного традицией, то они обладают не меньшим даром утихомиривать вражду и успокаивать сердца, нежели праздники толпы, и нужно благодарить фривольную — я не имею в виду порнографической — прессу за то что, она поддерживает в публике хорошее настроение, способствующее миру. Что же касается публики ненавидящей, то она нам тоже известна, и зло, которое она причиняет или заставляет причинять, далеко превосходит опустошения, производимые разъяренными толпами. Публика — это толпа гораздо менее слепая и гораздо более долговечная, и ярость ее, более осмысленная, накапливается и поддерживается в продолжение целых месяцев и лет.

Поэтому удивительно, что о преступлениях толпы говорили так много, а о преступлениях публики — ничего; без сомнения существует публика преступная, кровожадная, как существует и преступная толпа; и если преступность первых не так очевидна, как преступность вторых, зато насколько она действительнее, утонченнее, глубже, непрощительнее! Но обыкновенно опасались только преступлений и злодеяний, совершенных по отношению к публике, той лжи, злоупотребления доверием, настоящих мошенничеств в огромных размерах, жертвой которых часто делается публика по милости своих вожаков. То же следует сказать о преступлениях и злодеяниях, совершенных по отношению к

толпе, не менее гнусных и, может быть, не менее частых. Лгут избирательным собраниям, выманивают их голоса коварными обещаниями, торжественными предложениями, которые заранее решено не сдерживать, придумывают разные позорные клеветы. И толпу обмануть легче, нежели публику, потому что тот оратор, который обманывает ее, чаще всего не имеет противника, тогда как различные газеты в каждый момент служат противоядием одна для другой. Как бы то ни было, но из того что публика может сделаться жертвой настоящего преступления, следует ли еще, что она сама не может быть преступной?

Заговорив о злоупотреблениях доверием, объектом которых является публика, заметим мимоходом, насколько недостаточным является в настоящее время чисто индивидуалистическое понятие *юридического обязательства* в том виде, как юристы понимали его до сих пор; оно требует переделки для того, чтоб отвечать тем социальным переменам, которые произошли в наших нравах и обычаях, благодаря появлению и росту публики. Для того чтобы существовало юридическое обязательство как следствие обещания, необходимо, по общепринятым до сих пор представлениям, чтоб оно было принято тем лицом или теми лицами, к которым оно обращено, что предполагает *личное* отношение к ним. Но это было возможно до книгопечатания, когда людское обещание не шло дальше пределов звука человеческого голоса, и так как в виду узких границ социальной группы, с которой приходилось вступать в деловые сношения, клиент всегда был лично известен поставщику, даримый — дарителю, должник — кредитору, то взаимно обязывающее соглашение могло считаться очевидной и почти исключительной формой обязательства. Но с развитием прессы приходится вступать во всякого рода отношения с лицами все менее и менее определенными, и все более с целой совокупностью людей, к которым обращаются с обещаниями при помощи газеты, в коммерческом деле посредством реклам, в политическом посредством программ. Но беда в том, что эти обещания, даже самые торжественные, представляют собой только *одностороннюю волю*, не скрепленную взаимностью одновременной воли, простые обещания, которые не приняты, не могут быть приняты и ввиду этого лишены всякой юридической санкции<sup>1</sup>. Ничто не может в большей степени благоприятствовать тому, что можно назвать социальным

---

<sup>1</sup> См. по этому вопросу наше сочинение *Transformations du droit* стр. 116 и 307, а также диссертацию Рене Вормса *Valonté unilatérale*.

разбоем. Можно еще согласиться с тем, что когда дело идет об обещании, данном толпе, его трудно санкционировать юридически в виду скоропреходящего по существу характера толпы, которая собирается только на миг и никогда не возобновляется в том же виде. Мне называли такого кандидата в депутаты, который перед четырьмя тысячами человек поклялся при перебаллотировке снять свою кандидатуру в пользу своего соперника-республиканца, если последний получит больше голосов, чем он. Действительно, обещавший получил меньше голосов, но он не снял кандидатуры и был выбран. Вот что может придать смелости политическим шарлатанам. И я допускаю, что нельзя обязать законом выполнять подобные обещания по той причине, что раз толпа рассеялась, то нет никого, даже лиц, участвовавших в ней, кто бы мог претендовать на звание ее представителя или действовать от ее имени. Но публика — это нечто постоянное, и я не вижу причины, почему после того, как какое-нибудь заведомо ложное сведение было опубликовано в качестве достоверного, и доверчивые читатели были вовлечены в невыгодную спекуляцию, разорились благодаря этой коварной, своекорыстной, продажной лжи — почему они не в праве предать суду надувшего их плута-публициста с целью заставить его отдать отнятое? Может быть, тогда публичный характер лжи, вместо того чтобы быть, как в настоящее время, смягчающим или оправдывающим вину обстоятельством, считался бы тем более отягчающим вину, чем многочисленнее была обманутая публика<sup>1</sup>. Непостижимо, как писатель, который постыдился бы лгать в частной жизни, лжет бесстыдно, с легким сердцем сотне тысяч, пятистам тысячам человек, которые его читают, и как многие, зная это, продолжают считать его честным человеком.

Но оставим этот вопрос о праве и возвратимся к преступлениям и злодействам публики. Что есть публики безумные, — это не подлежит сомнению; такова была, наверно, афинская публика, когда она несколько лет тому назад принуждала свое правительство объявить Турции войну.

Не менее достоверно и то, что существует публика преступная: разве не было министерств, которые под давлением публики, господствующей прессы должны были — не желая пасть с честью — внести законы, отдающие на преследование и грабеж

---

<sup>1</sup> Есть виды публики, как и собрания, которые тем способнее поддаться обману, чем они многочисленнее, что прекрасно известно фокусникам.

ту или другую категорию граждан? Конечно, преступления публики имеют на вид меньшую окраску жестокости, нежели преступления толпы. Они разнятся от преступлений толпы четырьмя свойствами: во-первых, они носят менее отталкивающий характер; во-вторых, они проистекают не столько из мстительных, сколько из своекорыстных целей, они менее жестоки, но более коварны; в-третьих, их давление более широкое и продолжительное и, наконец, в-четвертых, им еще более обеспечена безнаказанность.

Если хотите найти типичный пример преступлений толпы, то *Революция Тэна* даст их нам слишком много. В сентябре 1789 года в Труа создается легенда против мэра Гюэца: он *скупщик*, он хочет *кормить народ сеном*.

Гюэц был человек известный своей благотворительностью, он оказал большие услуги городу. Но что в том? 9 сентября три повозки с мукой оказываются плохими, народ собирается и кричит: «Долой мэра. Смерть мэру!» Гюэц, вышедший из суда, был сбит с ног, умерщвлен ударами ног и кулаков; голова его была пробита ударом деревянного башмака. Одна женщина бросается на распростертого на земле старца, топчет лицо его ногами и несколько раз втыкает ему в глаза ножницы. Его волокут, привязав ему веревку на шею, до моста, бросают в соседний брод, потом опять вытаскивают и снова тащат по улицам в реку «с *клочками сена во рту*». Затем следует разграбление и разрушение домов, и у одного нотариуса «было унесено и выпито более шестисот бутылок»<sup>1</sup>.

Эти коллективные убийства, очевидно, не были внушены алчностью, подобно зверствам наших или революционных публик, которые в ту же эпоху посредством своих газет, посредством своих терроризированных представителей заставляли писать проскрипционные листы или вотировать законы о конфискации, чтобы забрать имущество своих жертв. Нет, они внушены чувством мести подобно убийствам целых семей у диких племен или потребностью покарать за преступления действительные или воображаемые подобно американским судам по закону Линча. Во все времена и во всех странах убивающая или грабящая толпа считает себя судьей, и тот короткий суд, который она учиняет, странно напоминает по мстительному характеру наказаний, по

---

<sup>1</sup> Революция, т. 1, стр. 88. В ту же самую эпоху толпа поступила еще хуже в Кане: майор Бельсэнс был разорван на куски, как Лаперуз на островах Фиджи, и одна женщина съела его сердце.



их неслыханной жестокости, даже по их символизму — как это показывает клочок сена во рту Гюэца — правосудие первобытных времен. В сущности говоря, можно ли назвать преступной толпу, доведенную до безумия уверенностью, что ее предадут, что ее хотят заморить голодом, истребить? Если и есть здесь преступник, то это только подстрекатель или группа подстрекателей, виновник или виновники издевательств над убитыми. Большое извинение для толпы в ее худших крайностях — это ее чудовищное легковерие, напоминающее веру загнипнотизированного. Публика отличается гораздо меньшим легковерием, и ее ответственность поэтому тем более велика. Люди, собравшиеся вместе, гораздо легковернее, чем каждый из них, взятый в отдельности, так как один тот факт, что их внимание сосредоточено на одном предмете наподобие коллективного *моноидеизма*, приближает их к состоянию сна или гипноза, когда поле сознания, удивительно суженное, целиком захватывается первой идеей, которая представится ему. Тогда всякое утверждение, высказанное уверенным и сильным голосом, так сказать, несет с собой свое доказательство. Во время войны 1870 г., после наших первых поражений, разнесся слух во многих деревнях, что некоторые из крупных собственников и некоторые священники посылали огромные суммы пруссакам — по сто, по двести тысяч франков. Это говорилось о людях очень почтенных и вместе с тем очень задолжавших, которые с трудом могли бы достать себе десятую часть этих денег. У некоторых из них были сыновья под знаменами.

Однако эти злобные басни не нашли бы доверия у крестьян, если бы они жили рассеянными на полях; но собравшись на ярмарках или на рынках, они вдруг поверили этим гнусным нелепостям, и готфейское злодеяние было кровавым свидетельством этого легковерия.

Толпы не только легковерны, они безумны. Многие из свойств, отмеченные нами у них, общи с душевнобольными в наших лечебницах: преувеличенная гордость, нетерпимость, неумеренность во всем.

Они доходят всегда, как сумасшедшие, до двух крайних полюсов или возбуждения, или упадка духа, они то героически неистовы, то уничтожены паникой. У них бывают настоящие коллективные галлюцинации: людям, собравшимся вместе, кажется, что они видят и слышат такие вещи, которых они не видят и не слышат, каждый в отдельности. И когда толпы уверены, что их преследуют воображаемые враги, их вера основана на

логике безумца. Подобный ярый пример мы находим у Тэна. В конце июля 1789 года, когда толчок национальных волнений вызвал везде, на улицах, на площадях буйные собрания, вдруг стал распространяться слух, мало-помалу охвативший всю область Ангумуа, Перигора, Оверня, будто идут десять тысяч, двадцать тысяч разбойников; их уже видели, вон на горизонте они поднимают уже пыль, они идут с намерением все разграбить, всех зарезать. «Услыхав это, целые округа спасаются ночью в леса, покидая свои дома, унося свое имущество». Но вот истина обнаруживается. Беглецы возвращаются в свои селения. Тогда они начинают рассуждать совершенно так, как рассуждают одержимые манией преследования, которые, ощущая в себе чувство страха, болезненного по происхождению, воображают врагов для его оправдания. «Так как мы поднялись, — говорят они, — это значит, что нам грозила гибель, и если нам не грозит опасность со стороны разбойников, она грозит с другой стороны». С другой стороны — это значит со стороны воображаемых заговорщиков. И в результате слишком реальные преследования.

Значит ли это, что коллективные преступления существуют только по названию? И приходится ли только рассматривать индивидуальные преступления вожаков? Это значило бы зайти слишком далеко и довести до крайности относительную справедливость предыдущих рассуждений. Когда толпа в римском цирке для своего удовольствия приказывала знаком умертвить побежденного гладиатора, не была ли она кровожадна и преступна, несмотря на то, что сила наследственного обычая смягчает отчасти ее вину? Впрочем, есть толпы, родившиеся преступными, а не сделавшиеся таковыми случайно, толпы, настолько же преступные, насколько и их вожаки, которых они избрали потому, что они были похожи на них: это толпы, состоящие из злодеев, которых соединило вместе тайное сродство, и испорченность которых от этого соединения дошла до экзальтации, до такой степени экзальтации, что они, в сущности говоря, являются не столько преступниками, сколько преступными безумцами, прилагая к коллективной преступности выражение, заимствованное из индивидуальной преступности. *Преступный сумасшедший*, этот опасный и отталкивающий безумец, который совершает насилия и убивает вследствие болезненного импульса, но болезненность которого является не столько уклонением, сколько чрезмерным усилением склонностей его нормального характера, его натуры, лживой, эгоистической и злой, — этот безумец реализуется в больших размерах в коллективной форме, когда в

смутные времена каторжники, вырвавшиеся из острога, предаются кровавым оргиям.

Как далека от всего этого преступления публика! Публика бывает преступной более из партийной выгоды, нежели из мести, из трусости, нежели из жестокости; она террористична из боязни, а не под влиянием вспышки гнева. Особенно она способна на преступную снисходительность по отношению к своим вождям, на *manutengolismo*, как говорят итальянцы. Но к чему заниматься ее преступлениями; ведь она — общественное мнение, а мнение, повторяем еще раз, самодержавно, и, как такое, не подлежит ответственности! Эти преступления можно преследовать только тогда, когда они являются в виде попытки, но не совершены еще; и, опять-таки, их можно преследовать в лице тех публицистов, которыми они были внушены, или в лице предводителей толпы, порожденной публикой и совершающей эти попытки. Что же касается самой публики, то она остается в тени, неуловимой, ожидая удобного момента начать все снова. Чаще всего, когда какая-нибудь толпа совершает преступление — начиная с парламентов этих полукорпоративных толп, показавших свое единомыслие со столькими деспотами, — позади нее скрывается публика, которая возбуждает ее. Разве избирательная публика, выбравшая в депутаты сектантов и фанатиков, не причастна к их беззакониям, к их посягательствам на свободу, имущество и жизнь граждан? Разве не избирает она их часто вторично и этим самым не дает опору их беззакониям? Но не только избирательная публика является соучастницей преступлений. Публика, даже не избирательная, на вид чисто пассивная, на деле действует посредством тех, кто старается подслужиться к ней, снискать ее расположение. Почти всегда именно в сообщничестве с преступной публикой — с того времени как публика стала нарождаться — совершались величайшие исторические преступления: Варфоломеевская ночь — весьма вероятно, преследования протестантов при Людовике XIV — несомненно, и немало других! Сентябрьская резня сопровождалась восторженным одобрением известной публики, и без этой публики, без ее поощрения, этой резни не случилось бы. Стоящие на низшей ступени преступлений выборные мошенничества, в том виде, как они в изобилии и смело практикуются в некоторых городах, не являются ли групповыми преступлениями, совершаемыми при более или менее сознательном соучастии целой публики? Вот общее, или приблизительно общее правило: за преступной толпой скрывается еще более преступная публика, а во главе этой

последней — еще более преступные публицисты. Сила публицистов зависит прежде всего от того, что они по инстинкту знают психологию публики. Они знают, что ей по вкусу и что не по вкусу; они знают, например, что можно безнаказанно позволить себе по отношению к ней смелость порнографических изображений, которую не вынесла бы толпа; театральные толпы отличаются коллективной стыдливостью, противоположной индивидуальному цинизму тех людей, из которых они состоят<sup>1</sup>, и эта стыдливость отсутствует у специальной публики известных журналов. Можно даже сказать, что эта публика представляет собою коллективное бесстыдство, составленное из элементов относительно стыдливых. Но в качестве ли публики или толпы, все собрания похожи, к сожалению, друг на друга в одном отношении: в их прискорбной склонности подвергаться взрывам страсти и ненависти. Для толпы потребность ненавидеть соответствует потребности действовать. Возбуждение в ней энтузиазма не поведет далеко; но дать ей повод и предмет ненависти — значит дать толчок ее деятельности, которая, как нам известно, по существу, имеет разрушительный характер, поскольку она выражается в определенных действиях. Отсюда успех проскрипционных списков во время восстаний. Головы или голов требует разъяренная толпа. Деятельность публики, по счастью, не так односторонняя, и она обращается в сторону идеала реформ или утопий с такой же легкостью, как и в сторону идей остракизма, преследований и расхищения. Но, обращаясь к природной злобности публики, ее вдохновители легко ведут ее самое к своим злым целям. Открыть или изобрести новый значительный предмет ненависти для публики — это одно из наиболее верных средств стать в ряды царей журнализма. Ни в какой стране, ни в какие времена защита не имела такого успеха, как поношение.

Но мне не хотелось бы кончить на этой пессимистической мысли. Я склонен, невзирая ни на что, верить, что те глубокие социальные преобразования, которыми мы обязаны прессе, совершились в целях конечного объединения и умиротворения.

---

<sup>1</sup> Толпа представляет собою иногда также пример коллективной честности, составленной из собранных вместе нечестных элементов. В 1720 году, после горячки финансовых спекуляций, английский парламент, «члены которого почти все участвовали лично в этом разгульном ажиотаже, заклеил его и возбудил преследование против главных его деятелей за развращающее действие на общественных чиновников» (Claudio Jannet, *Le Capital*).

Заменяя собою более древние группировки или наслаиваясь на них, новые группировки, как мы видели, носящие название публики, охватывающие все больший район и приобретающие все большую плотность, не только заменяют царством моды царство обычая, новизной — традицию; резкие и несокрушимые подразделения между многочисленными разновидностями человеческой ассоциации с их бесконечными конфликтами они заменяют неполным и изменчивым делением с неясными границами, беспрестанно возобновляющимися и взаимно проникающими друг в друга. Таково, кажется мне, должно быть заключение этого длинного исследования.

Но я прибавляю, что было бы глубокой ошибкой приписывать коллективностям, даже в их наиболее духовной форме, честь человеческого прогресса. Всякая плодотворная инициатива в конце концов исходит от индивидуальной мысли, независимой и сильной; и для того, чтобы мыслить, нужно изолировать себя не только от толпы, как говорит Ламартин, но и от публики. Это-то именно и забывают великие сторонники народа, взятого в целом, и они не замечают некоторого рода противоречия, которое заключается в их аналогии. Они проявляют удивление к великим деяниям, так называемым анонимным и коллективным деяниям, только для того, чтобы выразить свое презрение к индивидуальным гениям кроме своего собственного. Также заметим, что эти знаменитые поклонники одних масс, презиравшие всех людей, в отдельности были чудовищами гордости. После Шатобриана и Руссо никто, может быть, более Вагнера, если не считать Виктора Гюго, не проповедовал так сильно теорию, по которой «народ есть двигатель искусства», а «изолированный индивидуум сам не мог бы ничего изобрести, он может только присвоить себе общее изобретение». Это одно из тех коллективных восхищений, которые не льстят ничьему самолюбию, как безличные сатиры, которые никого не обижают, потому что они неясно обращены ко всем вместе.

Опасность новых демократий кроется в постоянно возрастающей для мыслящих людей трудности не поддаться власти соблазнительной агитации. Трудно погружаться в водолазном колоколе в сильно взволнованное море. Направляющими индивидуальностями, которых выдвигает наше современное общество, являются, все более и более, писатели, находящиеся с ним в беспрестанном соприкосновении; и то могущественное действие, которое они производят, — конечно более желательное по сравнению с ослеплением толпы, не имеющей вождя, — является

опровержением теории создающих масс. Но этого недостаточно, и так как недостаточно распространять повсюду среднюю культуру, а нужно прежде всего поднимать вверх высшую культуру, то мы можем с Сомнером Мэном уже подумать об участи, ожидающей в будущем последних *интеллектуалов*, долговременные заслуги которых не бросаются в глаза. Население горных местностей не срывает гор и не превращает их в земли, годные для обработки, в виноградники или в поля, засеянные люцерной, отнюдь не вследствие сознания заслуг, оказываемых этими естественными водохранилищами; это зависит просто от стойкости горных вершин, от твердости их вещества, взорвать динамитом которое стоит слишком дорого. А интеллектуальные и художественные вершины человечества спасут от разрушения и демократической нивелировки, боюсь, не признательность за добро, оказанное ими миру, не справедливое уважение к ценности их открытий. Что же спасет их?.. Хотелось бы думать, что это будет сила их сопротивления. Горе им, если они дойдут до измельчания.

# ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И РАЗГОВОР

## МНЕНИЕ

### I

Мнение для публики в наше время есть то же, что душа для тела, и изучение одной естественно ведет нас к другому. Мне возражат, что во все времена существовало общественное мнение, тогда как публика в смысле, установленном нами, довольно недавнего происхождения. Это верно, но мы сейчас увидим, к чему сводится значение этого возражения. Что такое общественное мнение? Как оно рождается? Каковы его личные источники? Каким образом в своем росте выражается оно и в своем выражении растет, как то показывают современные способы его выражения, всеобщая подача голосов и журнализм? Какова его плодотворность и его общественное значение? Как оно преобразуется? И к какому общему устью, если существует таковое, стремятся его многочисленные потоки? На все эти вопросы мы попытаемся по возможности ответить.

Прежде всего следует заметить, что в слове *мнение* обыкновенно смешиваются два понятия, которые, правда, спутанны, но которые должен различать тщательный анализ: мнение в собственном смысле слова — совокупность суждений, и общая воля — совокупность желаний. Здесь мы займемся мнением, взятым преимущественно, но не исключительно в первом из этих двух значений.

Как бы ни было велико значение общественного мнения, не нужно преувеличивать его роли, несмотря на то что в наше время оно является наводняющим потоком. Постараемся установить предел сферы его господства. Его не нужно смешивать с двумя другими фракциями общественного духа, которые одновременно питают и ограничивают его, которые находятся в непрерывной борьбе с ним из-за этих пределов. Одна из них — это традиция,

накопленный и сгущенный экстракт из того, что составляло мнение умерших, наследие необходимых и спасительных предубеждений, часто тягостных для живущих. Другая — это та, которую я позволю себе назвать собирательным и сокращенным именем — разумом. Я разумею под этим относительно рациональные, хотя часто безрассудные личные суждения избранных, которые изолируются, и мыслят, и выходят из общего потока, чтобы служить для него плотиной или направлять его. Священники в прежние времена, философы, ученые, правоведы, соборы, университеты, судебные учреждения — являются поочередно или одновременно воплощением этого устойчивого и направляющего разума, который редко отличается и от страстных и стадных увлечений масс, и от двигателей или вековых принципов, заложенных в глубине их сердца. Хотелось бы прибавить к этому перечню парламенты, палаты или сенаты. Не избраны ли их члены именно для того, чтобы решать дела в полной независимости и служить для обуздания общественного бега? Но действительный ход вещей далеко не соответствует идеалу.

Прежде чем приобрести общее мнение и сознать его таковым, индивидуумы, составляющие нацию, сознают, что обладают общей традицией и сознательно подчиняются решениям разума, который считается высшим. Таким образом, из этих трех разветвлений общественного духа мнение начинает развиваться последним, но быстрее всего увеличивается, начиная с известного момента; и оно увеличивается в ущерб двум другим. Против его периодических приступов не устоит ни одно национальное установление; нет такого индивидуального разума, который бы не задрожал и не смутился перед его угрозами или требованиями. Которому же из этих двух соперников мнение делает больше зла? Это зависит от его главарей. Когда они принадлежат к разумным избранникам, им удается иногда сделать из мнения как бы таран, для того чтобы пробить брешь в традиционной стене и расширить ее, разрушая, что не лишено опасности. Но когда главенство в толпе предоставлено кому попало, им легче, опираясь на традицию, восстановить мнение против разума, который, однако, в конце концов торжествует.

Все шло бы к лучшему, если бы мнение ограничивалось вульгаризацией разума, для того чтобы посвятить его в традицию. Сегодняшний разум, таким образом, становился бы завтрашним мнением и послезавтрашней традицией. Но мнение, вместо того чтобы служить связующим звеном между своими двумя соседями,



любит принимать участие в их распрях и, то упиваясь новыми модными доктринами, разрушает привычные идеи и установления, прежде чем получит возможность заменить их, то под властью обычая изгоняет или угнетает разумных новаторов, или насильно принуждает их одеть традиционную ливрею, принуждает к лицемерному переодеванию.

Эти три силы разнятся друг от друга сколько по своей природе, столько же и по своим причинам и следствиям. Они действуют все вместе, но слишком неравномерно и слишком изменчиво для того, чтобы составить ценность вещей; и ценность бывает совершенно иная, смотря по тому, будет ли она прежде всего делом привычки, или делом моды, или делом рассуждения. Дальше мы покажем, что разговор во все времена и главный источник разговора в наше время, пресса, являются важными факторами мнения, не считая, разумеется, традиции и разума, которые никогда не перестают принимать в нем участие и оставлять на нем свой отпечаток. Факторы<sup>1</sup> традиции, кроме самого мнения, — суть семейное воспитание, профессиональное обучение и школьное преподавание, по крайней мере в том, что в них есть элементарного. Разум в тех обществах, где он культивируется, юридических, философских, научных и даже экклезиастических, имеет своими характеристическими источниками наблюдение, опыт, расследование или, во всяком случае, рассуждение, вывод, основанный на текстах.

Борьба или союз этих трех сил, их столкновение, их взаимное овладение друг другом, их взаимное действие, их многочисленные и разнообразные отношения — все это представляет собой один из самых жгучих вопросов истории. В социальной жизни нет ничего столь органического, плодотворного, как эта продолжительная работа противодействия и приспособления, часто носящих кровавый характер. Традиция, остающаяся всегда национальной, более сжата в неподвижных границах, но бесконечно глубже и устойчивей, нежели мнение; она легка и скоропреходяща, как ветер, и, как ветер, способна к расширению, всегда стремится стать интернациональной, так же как и разум. Можно сказать вообще, что утесы традиции беспрестан-

---

<sup>1</sup> Это слово — *фактор*, — впрочем, неточно; оно обозначает *канал* или же *источник*. Здесь оно значит *канал*, так как разговор и образование только передают идеи, из которых составляется мнение или традиция. *Источниками* всегда являются индивидуальные инициативы, малые или великие изобретения.

но подтачиваются приливами мнения этого моря без отливов. Мнение тем сильнее, чем менее сильна традиция, но это не значит, что в этом случае разум еще менее силен. В средние века разум, представленный университетами, соборами и судами, обладал гораздо большей, нежели в настоящее время, силой сопротивления общему мнению и был способнее отвергать его; правда, у него было гораздо меньше сил бороться с традицией и реформировать ее. Беда в том, что современное мнение стало всемогущим не только против традиции, элемента, который сам по себе весьма важен, но также и против разума, разума судебного, научного, законодательного, или разума государственного для известного случая. Если оно не наводняет лаборатории ученых — единственное до сих пор неприкосновенное убежище, то оно заливают судилища, потопляет парламенты, и нет ничего тревожнее этого потопа, близкого конца которого ничто не заставляет предвидеть.

Очертив его границы, постараемся точнее определить его.

Мнение, скажем мы, есть кратковременная и более или менее логическая группа суждений, которые, отвечая задачам, поставленным современностью, воспроизведены в многочисленных экземплярах, в лицах одной и той же страны, одного и того же времени, одного и того же общества.

Все эти условия существенно необходимы. Существенно необходимо также и то, чтобы каждое из этих лиц имело более или менее определенное сознание относительно тождественности суждений, которых оно придерживается, с суждениями, которых придерживаются другие; если бы каждое из них считало себя изолированным в своей оценке, то ни одно из них не чувствовало бы себя и не было бы сжато в более тесной ассоциации с подобными себе, бессознательно подобными. Для того же, чтобы это сознание сходства идей могло существовать среди членов какого-нибудь общества, не нужно ли, чтобы причиной этого сходства было провозглашение словесное или письменное, или при помощи прессы, какой-нибудь идеи, сначала индивидуальной, а потом превратившейся постепенно в общее достояние? Превращением индивидуального мнения в мнение общественное, в «мнение», общество обязано было в древности и в средние века публичному слову, в наше время — прессе, но во все времена и прежде всего — частным разговорам, о которых мы вскоре будем говорить.

Говорят — мнение, но бывает всегда два мнения одновременно по поводу каждой возникающей задачи. Только одному из них довольно быстро удается затмить другое своим более стреми-

тельным и более ярким сиянием или же тем, что оно, несмотря на свое меньшее распространение, бывает более шумным<sup>1</sup>.

Во всякую эпоху, даже наиболее варварскую, существовало мнение, но оно глубоко разнится от того, что мы называем этим именем. В клане, в трибе, в древнем городе, даже и в городе средних веков все люди знали лично друг друга, и когда, благодаря частным разговорам или речам ораторов, какая-нибудь идея утверждалась в умах, она не представлялась чем-то вроде свалившегося с неба камня безличного происхождения и вследствие этого еще более обаятельной; каждый представлял её себе связанной с тем тембром голоса, с тем лицом, с той знакомой личностью, откуда она к нему пришла, и это придавало ей живую физиономию. В силу той же причины она служила связью только между теми людьми, которые, ежедневно видясь и разговаривая друг с другом, не заблуждались одни насчет других.

Пока протяженность государств не переходила через стены города или, по крайней мере, через границы маленького кантона, мнение, образовавшееся таким образом, оригинальное и сильное, сильное иногда даже против самой традиции, в особенности же против индивидуального разума, играло в управлении людей преобладающую роль, роль хора в греческой трагедии, ту роль, которую современное мнение совершенно другого происхождения стремится в свою очередь завоевать в наших больших государствах или в наших огромных все растущих федерациях. Но в тот необыкновенно длинный промежуток, который разделяет эти две исторические фазы, значение мнения страшно падает, что объясняется его дроблением на местные мнения, не связанные между собой обычной соединительной чертой и игнорирующие друг друга.

В феодальном государстве, каковы Англия или Франция в средние века, каждый город, каждое местечко имело свои внут-

---

<sup>1</sup> Мнение может быть очень распространенным, но оно не *проявляет себя*, если оно умеренно; но как бы ни было мало распространено крайнее мнение, оно резко *проявляет себя*. Таким образом, «манифестации», способ выражения, в одно и то же время весьма удобопонятный и очень ясный, играют огромную роль в слиянии и проникании друг в друга мнений различных групп и в их распространении. Посредством манифестаций именно наиболее крайние мнения всех раньше и всех яснее начинают сознавать свое одновременное существование, и, благодаря этому, их распространение находится в особенно благоприятных условиях.

рение разногласия, свою отдельную политику и потоки идей или же, скорее, вихри идей, которые кружились на одном месте в этих закрытых местах, столько же разнились друг от друга, сколько были чужды и безразличны друг для друга, по крайней мере в обыкновенное время. Не только в этих отдельных местностях местная политика поглощала все внимание, но даже когда в слабой степени интересовались национальной политикой, ею занимались только между собой, составляли себе только смутное представление о том, каким образом разрешались одни и те же вопросы в соседних городах. Не было «мнения», но были тысячи отдельных мнений, не имеющих никакой постоянной связи между собой.

Эту связь могли образовать только: сперва книга, а затем — с гораздо большей силой — газета. Периодическая пресса позволила этим первоначальным группам единомышленных индивидуумов образовать второстепенный, и вместе с тем высшего порядка агрегат, единицы которого входят в тесное общение между собою, никогда не видев и не зная друг друга. Отсюда вытекают важные различия, и между прочими следующее: в первоначальных группах голоса больше *ponderantur*, чем *numerantur*, тогда как в второстепенной и более обширной группе, которую люди образуют, не видя друг друга, заочно, голоса могут только считаться, но не взвешиваться. Пресса, таким образом, бессознательно способствовала созданию *силы количества* и сокращению силы характера, если не разума.

Этим же самым ударом она уничтожила те условия, которые делали возможной абсолютную власть правителей. Действительно, этой последней в большой мере благоприятствовало дробление мнения по местам. Больше того, она находила в этом свое право на существование и свое оправдание. Что такое представляет из себя страна, различные области которой, города, местечки не объединены коллективным сознанием единства их взглядов? Действительно ли это нация? Не будет ли это только географическое или, в лучшем случае, политическое выражение? Да, это нация, но только в том смысле, что политическое подчинение различных частей государства одному и тому же главе есть уже начало национализации. Например, во Франции времен Филиппа Красивого, за исключением нескольких редких случаев, когда общая опасность выдвигала на первый план раньше всех забот во всех городах, во всех уделах один предмет общей тревоги, совсем не было *общественного духа*, существовал только в разных местах *местный дух*, движимый отдельно от других

своей определенной идеей или своей определенной страстью. Но король посредством своих чиновников имел понятие обо всех этих столь различных душевных состояниях и, соединяя их в себе, объединял их в этом общем знакомстве с ними, служившем основанием для его намерений.

Но это объединение было весьма хрупко, весьма несовершенно; оно давало только одному королю смутное понятие о том, что было общего во всех местных заботах. Его я было единственным полем их взаимного проникновения. Когда были собраны генеральные штаты, этим был сделан новый шаг к национализации мнений отдельных областей и кантонов. Эти мнения встречались в мозгу каждого из депутатов, признавали свое сходство или несходство друг с другом, и вся страна, с глазами, обращенными на своих представителей, в слабой степени интересуясь их работами, бес конечно меньше, чем в наши дни, представляла тогда, в виде исключения, зрелище нации, сознающей себя. Но это сознание, временное и исключительное, было весьма смутно, весьма медлительно и темно. Заседания штатов не были публичными. Во всяком случае, за неимением прессы речи не опубликовывались, а за неимением почты даже письма не могли заменить этого отсутствия газет. Словом, из новостей, более или менее обезображенных, переносимых из уст в уста по проществу недель и даже месяцев пешими или конными путешественниками, бродячими монахами, купцами, было известно, что штаты собрались и что они заняты таким-то и таким-то предметом — вот и все.

Заметим, что члены этих собраний в продолжении коротких и редких моментов своего общения сами образовали местную группу, очаг интенсивного местного мнения, порожденного заражением одного человека от другого, личными отношениями, взаимными влияниями. И именно благодаря этой высшей местной группе, временной, избираемой, низшие местные группы, постоянные, наследственные, состоящие из родственников или друзей по традиции в городах и уделах, чувствовали себя соединенными временной связью.

## II

Развитие почтовых сношений, увеличившее сначала публичную, а затем частную корреспонденцию; развитие путей сообщения, давшее возможность более частого соприкосновения для людей; развитие постоянных войск, позволяющее солдатам из различ-

ных провинций знакомиться и братски объединяться на одних и тех же полях сражений; наконец, развитие придворной жизни, призывавшее в монархический центр нации отборную знать со всех пунктов государства, — все это в значительной степени содействовало развитию общественного духа. Но довести это великое дело до высшей степени развития досталось на долю печатного станка. Пресса, раз дошедшая до фазиса газеты, делает национальным, европейским, космическим все местное, все, что в прежние времена, каково бы ни было его внутреннее значение, оставалось бы неизвестным за пределами весьма ограниченного района.

«Видное преступление» совершено где-нибудь; тотчас же пресса завладевает им, и в продолжение некоторого времени публика Франции, Европы, всего мира только и занята Габриель Бонпаром, Бранцини, или Панамой. Дело Лафаржа относительно «женубийства», совершенного в глубине одного замка в Лимузене, было одним из первых судебных процессов, получивших благодаря периодической печати, тогда уже возмужалой или, по крайней мере, взрослой, национальное распространение. Полтора века тому назад кто стал бы говорить о подобном деле вне границ Лимузена? Если нам укажут на дело Каласа и другие дела в этом роде, то в них большую роль сыграли широкая известность Вольтера и тот внесудебный интерес, который возбуждал страсти того времени по поводу этих знаменитых процессов: это интерес отнюдь не местный; наоборот, как нельзя более общий, потому что речь шла, справедливо или нет, о судебных ошибках, в которых обвинялись наши учреждения, вся наша магистратура. Можно сказать тоже и о национальном возбуждении, вызванном в другое время делом тамплиеров.

Можно утверждать, что до французской революции не было такого видного преступления против общественного права, которое возбудило бы страстное отношение к себе всей Франции, если оно не носило политического характера и не эксплуатировалось сектантами.

Судебная хроника, — такая, какой мы ее знаем, элемент, к сожалению, столь важный в наши дни для коллективного сознания, для мнения, — судебная хроника приковывает без всякого беспокойства, исключительно вследствие совершенно бескорыстной нескромности или театрального любопытства, в продолжение целых недель все взгляды бесчисленных рассеянных зрителей этого огромного и невидимого Колизея к одной той же судебной драме. Это кровавое зрелище, наиболее неизбежное и

наиболее возбуждающее страсти современных народов, было незнакомо нашим предкам. Наши деды первые начали знакомиться с ним.

Постараемся быть более точными. В большом обществе, разделенном на национальности и подразделенном на провинции, на области, на города, существовало всегда, даже до прессы, интернациональное мнение, пробуждавшееся время от времени; под ним — мнения национальные, также перемежающиеся, но уже более частые; под ними — мнения областные и местные, почти постоянные. Это — слои общественного духа, наложенные один на другой. Только пропорция этих различных пластов в смысле важности, в смысле толщины значительно изменялась, и легко заметить, в каком смысле. Чем более мы углубляемся в прошлое, тем более преобладающее значение имеет местное мнение. Национализировать мало-помалу и даже постепенно интернационализировать общественный дух — такова была работа журнализма.

Журнализм — это всасывающий и нагнетательный насос сведений, которые, будучи получаемы каждое утро со всех пунктов земного шара, в тот же день распространяются по всем пунктам земного шара, поскольку они интересны или кажутся интересными для журналиста, принимая в расчет ту цель, которую он преследует, и ту партию, голосом которой он является. Его сведения, действительно, мало-помалу становятся неотразимым внушением. Газеты начали с того, что выражали мнение, сперва чисто местное, мнение привилегированных групп, двора, парламента, столицы, воспроизводя их толки, их разговоры, их ссоры; они кончили тем, что почти по своему произволу стали направлять и изменять мнение, навязывая речам и разговорам большинство своих ежедневных сюжетов.

### III

Никто не знает, никто не может никогда себе вообразить, насколько газета видоизменила, обогатила и вместе с тем сравняла, *объединила в пространстве и придала разнообразие во времени* разговорам индивидуумов, даже тех, которые не читают газет, но которые, болтая с читателями газет, принуждены придерживаться колеи их заимствованных мыслей. Достаточно одного пера для того, чтобы привести в движение миллионы языков.

Парламенты *до прессы* так глубоко разнились от парламентов *после появления прессы*, что кажется, будто у тех и других есть

только общее название. Они разнятся по своему происхождению, по характеру своих полномочий, по своим функциям, по району и силе своего действия. До прессы депутаты кортесов, сеймов, генеральных штатов не могли выражать мнения, которое еще не существовало; они выражали только местные мнения, имеющие, как мы знаем, совершенно другой характер, или национальные традиции. В этих собраниях совершалось не что иное, как простое, без всякой связи сопоставление разнородных мнений, которые касались частных, ничего общего не имеющих между собой вопросов; здесь впервые научались сознать, возможно или невозможно согласование этих мнений. К этим местным мнениям примешивалось, таким образом, представление друг о друге опять таки чисто местное, заключенное в тесные рамки или проявляющее некоторую интенсивность только в том городе, где происходили эти собрания. Когда этим городом была столица, как Лондон или Париж, его муниципальный совет мог считать себя в праве соперничать в значении с палатой национальных депутатов; этим объясняются даже чудовищные притязания парижской коммуны во время французской революции, когда она нападала или пыталась подчинить себе учредительное собрание, национальное собрание, конвент. Причина заключалась в том, что пресса того времени, лишенная огромных крыльев, прикрепленных к ней позднее железными дорогами и телеграфом, могла привести парламент в быстрое и интенсивное общение только с парижским мнением. В настоящее время всякий европейский парламент благодаря возмужалости прессы имеет возможность постоянно и моментально соприкасаться и находиться в живом взаимном отношении действия и обратного действия с мнением не только одного какого-нибудь большого города, но и всей страны; по отношению к этой последней он служит одновременно одним из главных элементов проявления и возбуждения, является зеркалом выпуклым и зеркалом зажигательным. Вместо того чтобы помещать рядом местные и несходные между собою проявления духа, он заставляет проникать друг в друга многочисленные выражения, изменчивые грани одного и того же национального духа.

Прежние парламенты представляли собою группы разнородных полномочий, относящихся к различным интересам, правам, принципам; новейшие парламенты представляют собою группы однородных полномочий даже и тогда, когда они противоречат одно другому, потому что они имеют отношение к заботам тождественным и сознающим свое тождество. Кроме того, прежние



депутаты не походили друг на друга по своеобразным особенностям способов их избрания, целиком основанных на принципе избирательного неравенства и несходства различных индивидуумов, на чисто личном характере права голоса. Власть количества еще не родилась или не была признана законной; по этой именно причине в совещаниях собраний, избранных таким путем, простое численное большинство никто не считал законной силой.

В государствах наиболее «отсталых» единогласие было обязательным, и волю всех депутатов кроме одного останавливала оппозиция этого единственного несогласного лица. Таким образом, ни при наборе представителей, ни при исполнении ими своих функций закон большинства не был и не мог быть понятен до расцвета прессы и до национализации мнения. После же ее расцвета всякий другой закон кажется невыносимым; всеобщее право голоса, вопреки всем опасностям и нелепостям, которые оно носит в себе, принимается всюду шаг за шагом, в надежде, что оно само в себе заключает способность к реформе; и, несмотря на убедительные возражения, принято, что все должны склоняться перед очень важным решением, вотированным большинством в один только голос.

Всеобщая подача голосов и всемогущество большинства в парламентах сделались возможными только благодаря продолжительному и неуклонному действию прессы, условию *sine qua non* великой нивелирующей демократии, я не говорю о маленькой ограниченной демократии в стенах греческого города или швейцарского кантона.

Теми различиями, которые я только что отметил, объясняется также и суверенитет парламентов, возникший *со времени появления прессы* — суверенитет, на который парламенты *до существования прессы* не думали даже и претендовать. Они могли стать равными королю, затем выше его только тогда, когда они настолько же хорошо, как король, а затем лучше его воплотили национальное сознание, подчеркнули уже народившееся общее мнение и общую волю, выражая их, приобщая их, так сказать, к своим решениям, и стали жить с ними настолько в тесном единении, что монарх не мог настаивать на том, чтобы называться их единственным или наиболее совершенным представителем. Пока эти условия не были выполнены — а они были выполнены в эпоху великих государств только со времени появления журнализма — собрания, носившие в наивысшей степени народный характер даже во время революции, не дошли до того, чтобы убедить народы или убедить самих себя в том, что они распола-

гают верховной властью, и при виде безоружного, ими же побежденного короля они почтительно вступали с ним в мирное соглашение, считали за счастье получить от него, от какого-нибудь, например, Иоанна Безземельного, хартию вольностей, признавая таким образом не в силу предубеждения, а в силу разума, в силу разумности глубокой и скрытой социальной логики необходимость его прерогативы. Монархии до прессы могли и должны были быть более или менее абсолютными, неприкосновенными и священными, потому что они представляли собою все национальное единство; с появлением прессы они уже не могут быть таковыми, потому что национальное единство достигается вне их и лучше, чем посредством их. Между тем они могут существовать, но настолько же отличаясь от прежних монархий, насколько современные парламенты отличаются от парламентов прошлого. Высшей заслугой прежнего монарха было то, что он *устанавливал* единство и сознание нации; теперешний монарх имеет право на существование только в том смысле, что он *выражает* это единство, установленное вне его при помощи постоянного национального мнения, сознающего само себя, и применяется или приспособляется к нему, без того чтобы покоряться ему.

Чтобы покончить с социальной ролью прессы, заметим, что великому прогрессу периодической прессы мы преимущественно обязаны более ясным и более обширным размежеванием, новым и сильнее выраженным чувством национальностей, что характеризует в смысле политическом нашу современную эпоху. Не печать ли взрастила наравне с нашим интернационализмом наш национализм, который представляется его отрицанием и мог бы быть только его дополнением? Если возрастающий национализм вместо уменьшающегося лоялизма сделался новой формой нашего патриотизма, не следует ли приписать это явление той же самой страшной и плодотворной силе? Нельзя не подивиться при виде того, что, по мере того как государства смешиваются друг с другом, подражают друг другу, ассимилируются и морально объединяются друг с другом, разграничение национальностей углубляется, и их противоречия кажутся непримиримы. На первый взгляд нельзя понять этого контраста националистического XIX века с космополитизмом предыдущего века. Но этот результат, на вид парадоксальный, является наиболее логическим. В то время как ускорялся и умножался обмен товарами, идеями, всякого рода примерами между соседними или удаленными друг от друга народами, обмен идеями, в частности, прогрессировал еще быстрее, благодаря газетам, среди индивидуумов каждого народа,

говорящих на одном и том же языке. Насколько уменьшилось от этого *абсолютное* различие между нациями, настолько увеличилось от этого их *относительное* и *сознательное* различие. Заметим, что географические границы национальностей в наше время стремятся все более и более слиться с границами главных языков. Есть государства, где борьба языков и борьба национальностей слились воедино. Причина этого та, что национальное чувство оживилось, благодаря журнализму, и сила света газет преращается на границах того наречия, на котором они написаны.

Влияние книги, которое предшествовало влиянию газеты, и которое в XVIII, как и в XVII веках было преобладающим, не могло произвести тех же последствий: если книга так же давала почувствовать всем, кто читал её на одном и том же языке их филологическое тождество, то здесь дело шло не о *злободневных* вопросах, одновременно возбуждающих общие страсти. Национальное существование в большой степени засвидетельствовано литературой, но только газеты зажигают национальную *жизнь*, поднимают совокупные движения умов и желаний своим ежедневным грандиозным течением. Вместо того, чтобы подобно газете исчерпывать свой интерес в конкретной злободневности своих сообщений, книга пытается заинтересовать прежде всего *общим* и *отвлеченным* характером тех идей, которые она предлагает. Значит, она, как сделала наша литература XVIII века, более способна вызвать общечеловеческое, чем национальное или даже интернациональное течение. Интернациональный и общечеловеческий — две вещи разные: европейская федерация, в том виде, в каком наши интернационалисты могут составить о ней себе определенное представление, не имеет ничего общего с «человечеством», обожествленным энциклопедистами, идеи которых по этому вопросу догматизировал Огюст Конт. Следовательно, мы имеем основание думать, что космополитический и отвлеченный характер тенденций общественного духа в момент, когда разразилась революция 1789 г., связан с перевесом книги над газетой в качестве воспитателя общественного мнения.

# РАЗГОВОР

## I

Мы окинули сейчас первым взглядом, беглым и торопливым, интересующий нас предмет, чтобы дать понятие о его сложности. Определив мнение, мы особенно подробно остановились на том, чтобы показать его отношение к прессе. Но пресса является только одной из причин мнения, и одной из наиболее новых. Если мы изучили ее прежде всего, то это потому, что она виднее всех. Но теперь следует изучить, и гораздо пространней, так как это поле еще не исследовано, тот фактор мнения, который мы уже признали за наиболее постоянный и наиболее универсальный, этот маленькой невидимый источник мнения, изменчивые струи которого текут во все времена и во всяком месте: — это разговор. Прежде всего разговор избранных. В одном письме Дидро к Неккеру в 1775 г. я нахожу следующее весьма верное определение: «Мнение, этот двигатель, сила которого как для добра, так и для зла нам хорошо известна, ведет свое происхождение только от небольшого количества людей, которые говорят, после того как они думали, и которые беспрестанно образуют в различных пунктах общества просветительные центры, откуда продуманные заблуждения и истины постепенно расходятся до самых последних пределов города, где они утверждаются в качестве догматов веры». Если бы люди не разговаривали между собой, газеты могли бы появляться сколько угодно (хотя, ставя такую гипотезу, было бы непонятно их появление), и они не оказывали бы продолжительного и глубокого влияния на умы, они представляли бы собой как бы вибрирующую струну без гармонической деки; наоборот, за неимением газет и даже речей, разговор, если бы он был в состоянии прогрессировать без этой пицци, что тоже трудно допустить, мог бы со временем заменить до известной степени социальную роль трибуны и прессы в качестве образователя мнения.

Под разговором я разумею всякий диалог, не имеющий прямой и непосредственной пользы, когда говорят больше для того, чтобы говорить, для удовольствия, для развлечения, для

вежливости. Такое определение исключает из интересующего нас предмета и судебные допросы, и дипломатические или коммерческие переговоры, и соборы, и даже научные конгрессы, хотя они и изобилуют излишней болтовней. Оно не исключает светского флирта, ни вообще любовной болтовни, несмотря на часто сквозящую сквозь нее цель, которая, однако, не мешает ей быть интересной самой по себе. Оно подразумевает, впрочем, все парадные разговоры даже между варварами и между дикарями. Если бы я занимался только вежливым и культурным разговором, как особенным родом искусства, я не должен был бы восходить, по крайней мере, с античной, классической эпохи выше XV в. в Италии, XVI или XVII в. во Франции и в Англии и XVIII в. в Германии. Но гораздо раньше, чем распустился этот эстетический цветок цивилизации, его первые бутоны начали показываться на дереве языков; и хотя они менее плодотворные в смысле видимых результатов, нежели разговоры избранных, отрывистые беседы первобытных народов все-таки имеют важное социальное значение.

Если не считать дуэли, человек наблюдает другого человека с высшей доступной ему силой внимания только при условии разговора с ним. Вот наиболее постоянное, наиболее важное и наименее замеченное следствие разговора. Это — апогей *самозарождающегося внимания*, которое<sup>1</sup> люди взаимно выказывают по отношению друг к другу и посредством которого они проникают друг в друга бесконечно глубже, чем при каких-либо других социальных отношениях, заставляя их стоять лицом к лицу. Разговор заставляет их входить в сближение друг с другом путем настолько же неотразимым, насколько и бессознательным. Следовательно, он является самым могущественным деятелем подражания, распространения чувств, идей, способов действия. Увлечательная речь, заслужившая всеобщее одобрение, часто бывает менее зажигательна, потому что она открыто претендует быть таковой. Собеседники действуют один<sup>2</sup> на другого на очень близ-

---

<sup>1</sup> Всем известны ясные и глубокие этюды М. Рибо о «самозарождающемся внимании», важное значение которого он показал.

<sup>2</sup> Деспоты знают это очень хорошо. Они заботливо и недоверчиво наблюдают за беседами своих подданных и, насколько возможно, препятствуют им болтать между собой. Хозяйки деспотических домов не любят, чтоб их прислуга болтала с чужой прислугой, так как они знают, что, благодаря этому, они «поднимают голову». Со времен Катона Старшего римские женщины стали собираться вместе, чтобы поболтать, и

ком расстоянии не только словами, но и тембром голоса, взглядом, физиономией, жестами, влияющими как магнетические пазлы. Про хорошего собеседника вполне справедливо говорят, что он *чародей* в магическом смысле этого слова. Характерной чертой разговоров по телефону, где недостает большинства из этих элементов интересности, является их скучность, когда они не носят чисто утилитарного характера.

Набросаем как можно более кратко психологию или, скорее, если можно так выразиться, социологию разговора. Каковы его видоизменения? Каковы были его последовательные фазы, его история, его эволюция? Каковы его причины и его следствия? Каковы его отношения к социальному миру, к любви, к преобразованиям языка, к нравам, к литературе? Каждый из этих вопросов, касающихся предмета столь обширного, потребовал бы целой книги. Но мы не можем претендовать на то, чтобы совершенно исчерпать его.

Разговоры сильно разнятся сообразно с натурой собеседников, со степенью их культурности, с их социальным положением, с их происхождением, деревенским или городским, с их профессиональными привычками, с их религией. Они разнятся по трактуемым предметам, по тону, по церемониалу, по быстроте речи, по длительности. Была измерена средняя быстрота ходьбы пешеходов в различных столицах мира, и опубликованные статистические данные показали, что эта быстрота далеко не одинакова в них, но неизменна в каждом городе. Я убежден, что если бы сочли нужным, то могли бы так же точно измерить быстроту речи, свойственную каждому городу, и ее нашли бы далеко не одинаковой для различных городов, точно так же, как и для различных полов. Кажется, что по мере того, как люди более цивилизуются, они ходят и говорят быстрее. В своем *«Путешествии в Японию»* Бельсор отмечает *«медленность японских разговоров, кивание головой, неподвижность тел, сидящих вокруг их маленькой жаровни»*. Все путешественники также замечали медленность речи у арабов и у других первобытных народов. Будут ли народы в будущем говорить медленно или быстро? По всей вероятности, будут говорить быстро, но, по-моему

---

суровый цензор взглянул дурным оком на эти маленькие женские кружки, на эти опыты феминистских салонов. В советах своему управителю он, между прочим, говорит относительно жены: «Пусть она боится тебя, пусть она не слишком любит роскошь и пусть как можно реже видит своих соседок или других женщин».

мнению, стоило бы разработать с цифровой точностью эту сторону интересующего нас предмета, изучение которого стояло бы в связи с чем-то вроде социальной психофизики. В настоящий момент для этого существует недостаточное количество данных.

Разговор бывает совершенно другого тона, даже совершенно иной быстроты между низшим и высшим, и между равными — между родственниками и между чужими, между лицами одного пола, и между мужчинами и женщинами. Разговоры в маленьких городах между согражданами, связанными между собой наследственной приязнью, бывают и должны быть совершенно непохожи на разговоры в больших городах между образованными людьми, которые знают друг друга очень мало. Как одни, так и другие говорят о том, что составляет для них наиболее известный и наиболее общий предмет в смысле идей. Только то, что для последних в этом отношении является общим, бывает у них также общим с массой других лиц, потому что они лично мало знакомы друг с другом: отсюда их склонность говорить о предметах общих, спорить относительно идей, имеющих общий интерес. Но у первых нет таких идей, которые были бы для них более общими и более известными, чем частная жизнь и характер других знакомых им лиц: отсюда их склонность к сплетням и к злословью. Если в культурных столичных кругах злословят меньше, то это отнюдь не потому, что там меньше злости и желания злословить; но оно не находит для себя достаточно пригодного материала, если только, как это часто случается, оно не изливается на видных политических деятелей или на театральные знаменитости. Эти *общественные пересуды*, впрочем, превосходят частные пересуды, которые они собой заменяют, только в том отношении, что они, к сожалению, интересуют большее количество людей.

Оставляя в стороне многие второстепенные различия, будем различать прежде всего разговор — борьбу и разговор, — обмен мыслей, спор и взаимный допрос. Как мы увидим, второй, несомненно, идет по пути развития в ущерб первому. Точно так же бывает и в ходе жизни индивидуума, который, обнаруживая стремление к спору и к борьбе в своей юности и молодости, избегает противоречия и ищет согласия мыслей по мере приближения к старости.

Будем различать также разговор обязательный — церемониальный, установленный и ритуальный, и разговор произвольный. Этот последний, вообще, происходит только между равными, а равенство людей благоприятствует его развитию, содействуя сокращению области первого. Нет ничего более смешного — если не

объяснять это исторически, — как обязательство, налагаемое декретами на чиновников, приличиями на частных лиц, делать или наносить друг другу периодические визиты, в продолжение которых, сидя вместе, они принуждены полчаса или целый час мучительно изодрать свой ум на то, чтобы разговаривать, и ничего не сказать друг другу или говорить то, чего они не думают, и не говорить того, что они думают. Такое принуждение, принятое во всем мире, может стать понятным только тогда, когда мы поднимемся до его происхождения. Первые визиты, делавшиеся высокопоставленным лицам, начальникам их подчиненными, сюзеренам их вассалами, имели своим главным предметом подношение подарков, сначала произвольное и неправильное, затем обычное и периодическое, что на многочисленных примерах показал Герберт Спенсер, и в то же время было естественно, что эти визиты давали случай для беседы, более или менее краткой, состоявшей из преувеличенных восхвалений, с одной стороны, и из покровительственной благодарности — с другой<sup>1</sup>. Здесь разговор является только аксессуаром подарка, и в этом же смысле он еще понимается многими крестьянами более захолустных областей в их отношениях с лицами высшего класса. Мало-помалу эти два элемента древних визитов разобщились друг с другом, подарок превратился в подать, а беседа развивалась отдельно, но сохраняя даже между равными кое-что из своего прежнего церемониального характера. Отсюда эти торжественные формулы и формальности, которыми начинается и кончается всякий разговор. При всем своем разнообразии, они все сводятся к проявлению живейшей заботы о драгоценном существовании того, с кем говорят, или сильнейшего желания вновь увидаться с ним. Эти формулы и эти формальности, хотя и сокращаются, но продолжают быть постоянной рамкой разговора и кладут на него печать настоящего социального учреждения.

---

<sup>1</sup> Обычай визитов и обычай подарков связаны между собой; вероятно, визит был только необходимым следствием подарка. Словом, визит есть пережиток; подарок был вначале его правом на существование, и визит пережил его. Впрочем, от него кое-что еще осталось, и в деревнях многих стран, когда идут с визитом к людям, у которых есть дети, существует обычай приносить конфеты и лакомства. Приветствия в прежние времена должны были просто только сопровождать подарок, так же как и визиты. И точно также, после исчезновения обычая подарков, приветствия сохранились, но мало-помалу стали *взаимными* и превратились в *разговор*.



Другим началом обязательных разговоров должна была послужить глубокая скука, которую испытывали в одиночестве первобытные люди и вообще все не читающие во время своего досуга. Человек низшего класса тогда считал своим долгом, даже без подарка в руках, пойти для компании к высшему и поговорить с ним, чтобы развлечь его. Как этим, так и вышеупомянутым происхождением разговора без труда объясняется то обстоятельство, что обязательная беседа перешла в ритуальную форму.

Что же касается произвольных разговоров, то их источник заключается в человеческой общительности, которая во всякое время выливается в свободных речах, когда встречаются люди равного положения и товарищи.

## II

Затронув вопрос об эволюции разговора, не следует ли исследовать еще глубже его первоначальные зародыши? Без всякого сомнения следует, хотя я не стану восходить до животных обществ, до чириканья воробьев на деревьях, до тревожного карканья воронов в воздухе. Но можно без боязни утверждать, что, начиная с самых древних попыток членораздельной и сопровождающейся телодвижениями речи, говорить для того, чтобы говорить, т. е. вообще болтать, уже должно было доставлять удовольствие говорящим. Создание слова совершенно непонятно, если не допустить, что язык был первой эстетической роскошью человека, первым великим применением его изобретательного гения, что его любили и обожали как предмет искусства, в качестве забавы еще больше, чем в качестве орудия. Не родилось ли слово от пения, пения, сопровождаемого пляской, точно таким же образом, как письмо гораздо позднее произошло от рисунка? Мне представляется, что прежде, чем говорить при встречах друг с другом на досуге, первобытные люди начали петь вместе или петь, обращаясь друг к другу. Можно усмотреть уцелевший обломок от этих музыкальных разговоров в попеременном пении пастухов в эклогах, а также в сохранившемся еще среди эскимосов обычае петь в лицо кому-нибудь, когда желательно осмеять его. Их сатирическое пение, точно так же попеременное, этот безобидный и продолжительный поединок, играет ту же роль, как у нас оживленные споры.

Мне кажется вероятным еще одно предположение. Я опять возвращаюсь к только что сделанному мною сравнению. Задолго

до того, как письмо приобрело способность служить для всеобщего употребления, для переписки между друзьями и родственниками, для письменных разговоров, оно было пригодно только для надгробных надписей, надписей религиозного или монархического происхождения, для торжественных записей или для священных повелений. С этих высот, после вековых усложнений и вульгаризации, искусство письма спустилось до той ступени, когда существование легкой почты сделалось необходимым. То же было и со словом. Задолго до того, как слово стало употребляться для разговора, оно могло быть только средством выражать приказания или уведомления начальников, или же поучений поэтов-моралистов. Словом, оно было сначала по необходимости монологом. Диалог образовался только впоследствии, согласно с законом, по которому одностороннее всегда предшествует взаимному.

Приложение этого закона к интересующему нас предмету допускает несколько объяснений, одинаково законных. Прежде всего, вероятным является то, что на заре слова, в первой семье или орде, где раздался первый лепет, именно наиболее одаренный индивидуум обладал монополией языка; другие только слушали; они уже могли при известном усилии понимать его, но не могли еще подражать ему. Этот особенный дар должен был содействовать возвышению одного человека над другими. Отсюда можно вывести заключение, что монолог главы семьи, говорящего своим рабам или своим детям, начальника, командующего своими солдатами, предшествовал диалогу рабов, детей, солдат между собой или со своими начальниками. При другом объяснении, противоположном первому, низший позднее стал обращаться к высшему, чтобы восхвалять его, прежде чем этот последний удостоивал его ответом. Не принимая того объяснения, которое дает Спенсер относительно происхождения приветствий, которые, по его мнению, своим появлением были обязаны исключительно военному деспотизму, следует признать, что приветствие было отношением односторонним; принимая постепенно характер взаимности, по мере уменьшения неравенства, оно превратилось в разговор, который я назвал обязательным. *Молитва*, обращенная к богам, точно так же, как приветствие, обращенное к начальникам, есть ритуальный монолог, так как монолог естественно присущ человеку, и в форме псалма или оды, в лиризме всех времен он обозначает первую фазу религиозной или светской поэзии. Следует заметить, что молитва по мере развития имеет тенденцию превратиться в диалог; мы видим это на примере

католической мессы; и известно, что песнопения Бахусу были первым зародышем греческой трагедии. Эволюция этой последней представляет нам много ступеней перехода от монолога к диалогу при посредстве замены хора, роль которого все уменьшается. Греческая трагедия как была в самом начале, так и осталась до конца религиозной церемонией, которая, как и все религиозные церемонии, достигшие последней степени своего развития в высших религиях, вмещает в себе вместе ритуальные монологи и диалоги<sup>1</sup>, молитвы и разговоры. Но потребность разговаривать все более и более берет верх над потребностью молиться.

Во все времена собеседники говорят о том, что преподали им их священники или их профессора, их родители или их учителя, их ораторы или их журналисты. Итак, монологи, произносимые высшими, служат пищей для диалогов между равными. Прибавим, что весьма редко у обоих собеседников роли бывают совершенно равны. Чаще всего один говорит гораздо больше другого. Диалоги Платона служат этому примером. Переход от монолога к диалогу подтверждается в эволюции парламентского красноречия. Торжественные, напыщенные, непрерывные речи были обычными в прежних парламентах; в современных парламентах он — явление исключительное. Чем дальше мы подвигаемся вперед, тем больше заседания палат депутатов напоминают если не салоны, то споры в тесных кружках или в кафе. Между речью во французской палате, часто прерываемой остановками — с одной стороны и известными бурными разговорами — с другой, расстояние сводится к минимуму.

Говорят для того, чтобы поучать, чтобы просить или приказывать, или, наконец, для того, чтобы спрашивать. Вопрос, сопровождаемый ответом, — вот уже зародыш диалога. Но если вопрос задает все один и тот же, а другой отвечает, то такой односторонний допрос не есть разговор, т. е. допрос обоюдный, ряда переплетенных между собой вопросов и ответов, обменных поучений, взаимных возражений. Искусство разговаривать могло родиться только после продолжительного изощрения умов столетиями предварительных упражнений, которые должны были начаться с самых отдаленных времен.

Но не в самые отдаленные доисторические времена люди должны были разговаривать всего меньше, или меньше всего

---

<sup>1</sup> В юридических церемониях первоначального Рима (при исполнении закона) есть также ритуальные разговоры. Не предшествовали ли и им также монологи?

пытаться разговаривать. Так как разговор предполагает прежде всего досуг, известное разнообразие в жизни и в поводах для собрания, то полная случайностей и часто праздная жизнь первобытных охотников или рыболовов<sup>1</sup>, которые часто собирались, чтобы охотиться, ловить рыбу или поесть вместе плоды своих коллективных усилий, могла только благоприятствовать ораторским боям лучших говорунов. Поэтому эскимосы, одновременно и охотники и рыболовы, говорят очень много. Этот народ-дитя знает уже визиты. «Мужчины собираются отдельно, чтобы болтать между собой, женщины собираются с своей стороны и, оплакав умерших родственников, находят предмет для разговора в сплетнях. Разговоры во время еды могут продолжаться целыми часами и вращаются около главного занятия эскимосов, т. е. около охоты. В своих рассказах они описывают с мельчайшими подробностями все движения охотника и животного. Рассказывая эпизод из охоты на тюленя, они изображают левой рукой прыжки животного, а правой рукой все движения каяка (лодки) и оружия<sup>2</sup>».

Пастушеская жизнь дает столько же досуга, как и охота, но она более урегулирована и более монотонна, она рассеивает людей на более продолжительное время. Пастухи, даже кочующие, как арабы и татары, отличаются молчаливым характером. И если буколики Вергилия и Феокрита как будто и показывают обратное, не надо забывать, что оба эти поэта изображали нравы пастухов, цивилизованных соседством больших городов. Но, с другой стороны, пастушеская жизнь связана с патриархальным режимом, при котором процветает добродетель гостеприимства, а

---

<sup>1</sup> В палеолитическую эпоху, называемую эпохой Магдалины, когда процветало наивное искусство, когда все показывает существование мирного и счастливого населения (см. по этому предмету книгу Де Мортилье *Formation de la nationalité française*), без сомнения, должно было говориться очень много в прекрасных казармах, где жили в те времена. — В *Lettres édifiantes* часто упоминается о любви диких американских охотников, а в особенности их жен, к разговору. Один миссионер хвалит новообращенную молодую дикарку за то, что она избегала тратить свое время на «многочисленные визиты», которые делают друг другу женщины той страны (Канада). В другом месте говорится, что все единогласно хвалят эту девушку, несмотря на склонность дикарей «злословить». Иллинойцы, говорит нам другое письмо, «не лишены ума, они умеют вести довольно остроумно шутливые беседы».

<sup>2</sup> Тенишев, «Деятельность человека», 1898 г.

эта последняя может точно так же, как и социальная иерархия, родившаяся во время этой же социальной фазы, дать происхождение обязательному разговору.

Одной из причин, которые наиболее должны были задерживать появление разговора раньше утверждения сильной иерархии, была та, что некультурные люди, при сношениях между равными, склонны говорить все зараз и беспрестанно прерывать друг друга<sup>1</sup>. У детей нет недостатка, с большим трудом поддающегося исправлению. Давать говорить собеседнику есть признак вежливости, на которую решаются сперва из уважения к высшему, и которую оказывают по отношению ко всем, когда она вошла уже в привычку. Эта привычка, однако, могла сделаться общей в какой-нибудь стране только благодаря довольно продолжительной внешней дисциплине. Вот почему, я думаю, следует полагать, что успехи искусства разговаривать, в таком виде как мы его знаем, ведут свое начало от обязательных, а не от произвольных разговоров.

При такой точке зрения следует думать, что жизнь земледельческая, которая одна допускала образование городов и государств с твердым правлением, должна была вести к прогрессу разговора, хотя при большем разъяснении людей, однообразии их работ и уменьшении их досуга, она часто делала их молчаливыми. Промышленная жизнь, собирая их в мастерской и в городах, возбуждала их склонность к разговору.

Много говорилось о известном законе *рекапитуляции*, по которому те фазы, которые проходит ум ребенка при своем посте-

---

<sup>1</sup> Во время путешествия в Триполитанию (1840) Пезана поражал оглушительный шум на аудиенциях одного бей: «Мамелюки и негры, — говорит он, — вмешивались в спор, и кончали тем, что начинали говорить все разом, производя такой содом, который оглушил меня, когда я в первый раз присутствовал на этих дебатах. Я спросил, почему бей встречал столько возражений против своих решений, и каковы были побудительные причины столь шумных споров; не будучи в состоянии ответить мне категорически, они сказали мне, что это их обычная манера рассуждать между собой». — Есть и исключения. Если верить *Lettres édifiantes*, иллинойцы были исключительно одарены искусством разговаривать. «Они очень хорошо умеют шутить, они не знают, что значит спорить и раздражаться во время разговора. Никогда они не прервут вас во время вашей речи. Мужчины, — говорили нам, — ведут вполне праздную жизнь; они болтают, куря свои трубки, вот и все. Женщины работают, но отнюдь не лишают себя также удовольствия поболтать».

пенном формировании, в известной неопределенной мере являются кратким повторением эволюции первобытных обществ. Если этот взгляд не лишен справедливости, то изучение разговора у детей могло бы помочь нам разгадать, что представлял собою разговор в первые времена существования человечества. Задолго до диалога дети начинают с *вопросов*. Этот допрос, которому они подвергают своих родителей и посторонних взрослых людей, является для них первой односторонней формой болтовни. Позднее они становятся рассказчиками и слушателями *рассказов* или попеременно рассказчиками и слушателями. Наконец, еще позднее они делают замечания, они выражают общие наблюдения, которые представляют собою уже зародыш *речи*; и когда речь в свою очередь становится взаимной, получается спор, затем разговор. Действительно, ребенок верит гораздо раньше, чем начинает противоречить. У него бывает фаза противоречия точно так же, как раньше была фаза спрашивания.

Но спрашивать, рассказывать, разговаривать, спорить — все это упражнение ума ребенка. Ему предшествует упражнение воли. Ребенком *повелевают*, и он сам *повелевает* гораздо раньше, чем его начнут учить и он сам станет учить. Приказание идет прежде указания. Ребенок борется, прежде чем станет рассуждать и даже спорить; он чувствует противоречие желаний другого, прежде чем начнет чувствовать противоречие суждений другого. Он может почувствовать противоречие этих желаний, затем этих убеждений только тогда, когда сам подвергнется их прививке. Его послушание и доверие являются предварительным и необходимым условием его духа непослушания и противоречия. Таким образом, ребенок бывает спорщиком и болтуном потому, что сначала и прежде всего он был подражатель.

Если мы по этим наблюдениям станем догадываться о том, каково должно было быть прошлое разговора у человеческих рас, то согласимся прежде всего, что, несмотря на весьма глубокую доисторическую древность, разговор не может восходить к самому началу человечества. Ему должен был предшествовать не только длинный период молчаливого подражания, но и следующая затем фаза, когда люди любили рассказывать или слушать рассказы, но не болтать. Это — фаза эпопей. Греки сколько угодно могли быть самой болтливой расой, но не менее достоверно и то, что во времена Гомера болтали мало, если только целью не было *задавать друг другу вопросы*. Все разговоры носили утилитарный характер. Герои Гомера *много повествуют*, но *очень мало болтают*. Или же их беседы представляют собою

только попеременные рассказы. «При первых лучах Авроры, — говорит Менелай в «Одиссее» (песня IV), — мы обменяемся с Телемаком длинными речами и будем вести взаимную беседу». Обменяться длинными речами — это называлось в ту эпоху вести беседу.

Единственные разговоры, по-видимому праздные, — это разговоры влюбленных, даже и те имели утилитарный характер. Гектор, колеблясь идти к Ахиллу с предложениями условий мира, говорит под конец: «Я не пойду к этому человеку, он не почувствует ко мне никакого сожаления.... Не время теперь разговаривать с ним о дубе и о скале, как разговаривают между собой юноши и девы. Лучше сразиться». Таким образом юноши и девы уже *флиртовали* тогда, и их флирт состоял в разговоре «о дубе и о скале», т. е., вероятно, о предметах народного суеверия. — Только в эпоху Платона, уже достигнув известной степени цивилизации, греки любят диалог, как времяпрепровождение под сенью тополей, окаймляющих Илисс. — В противоположность древним эпопеям, а также *chansons de geste*, где разговоры только попадают в редких местах, современные романы, начиная с романов мадемуазель де Скюдери, отличаются все возрастающим обилием диалогов.

### III

Для того чтобы хорошо понять исторические видоизменения разговора, существенно важно проанализировать как можно ближе его поводы. Поводы его бывают лингвистические: язык богатый, гармоничный, выражающий много оттенков предрасполагает к болтовне. Он имеет поводы религиозные: его течение изменяется сообразно с тем, будет ли национальная религия ограничивать в большей или меньшей степени свободу слова, запрещать под страхом более или менее суровых наказаний флирт, злословие, «распущенность ума»; будет или не будет противиться прогрессу наук и народному образованию, будет или не будет налагать правило молчания на известные группы, на христианских монахов или на пифагорейские братства и введет ли в моду тот или этот предмет теологических споров: воплощение, искупление, непорочное зачатие<sup>1</sup>. Поводы его бывают политические: в

<sup>1</sup> Проезжая по югу Испании, Дюмон Дюрвиль замечает следующее: «бой быков и споры о непорочном зачатии, споры, родившиеся в монастырях провинции, занимают все умы, без исключения». Теперь он на-

демократическом обществе разговор питается теми сюжетами, которые доставляет ему трибуна или избирательная жизнь, в абсолютной монархии — литературной критикой и психологическими наблюдениями, за недостатком других тем. Поводы его бывают экономические<sup>1</sup>, из которых главный я уже отметил: досуг, удовлетворение наиболее настоятельных потребностей. Словом, нет ни одной стороны социальной деятельности, которая не была бы в тесном отношении с ним, и видоизменения которой не видоизменяли бы его. Я позволю себе просто напомнить то влияние, какое могут оказывать на него некоторые особенности в обычаях, имеющие гораздо меньший интерес. Тон и ход разговора находятся в зависимости от положения тела во время речи. Разговоры, которые ведутся *сидя*, бывают наиболее обдуманными, наиболее существенными; такие разговоры наиболее часты в наше время, но они отнюдь не были в моде при дворе Людовика XIV, когда привилегия табурета принадлежала только принцессам, и все должны были болтать стоя. Древние народы в своих *триклинных* больше всего любили беседовать *лежа*<sup>2</sup>, и эти беседы,

---

шел бы, что все погружены в политику, — единственный сюжет для разговоров как в Испании, так и во всех испанских республиках Южной Америки.

<sup>1</sup> Одним из самых значительных препятствий к учреждению кооперативных потребительных обществ, представляющих такие очевидные преимущества для потребителя, является, по словам одного превосходного наблюдателя, «привычка к сплетням, практикующимся в лавках. Там встречаются, там обмениваются новостями квартала, и вся эта мелочная болтовня, столь драгоценная для женщин, привязывает их к поставщикам. Именно благодаря этой склонности женщин, некоторые общества (в виде исключения) решаются продавать *публике* (и не только одним членам общества), потому что тогда магазин не имеет обособленного вида, и женщины как бы приходят в обыкновенную лавку». Отсюда мы видим, насколько силен и неотразим поток разговоров, раз уже получивший начало. Мы можем видеть другое доказательство во всеми признаваемой трудности сохранить секрет, если знают, что он может интересовать собеседника, даже тогда, когда молчать бывает прямая выгода. Эта трудность, иногда столь большая, может служить мериллом симпатической склонности, потребности устного общения с подобными себе.

<sup>2</sup> Не будем смешивать эти беседы с теми, о которых говорит нам Дюмон Дюрвиль по поводу Гавайских островов: «В числе странных обычаев этой страны, — говорит он, — нужно упомянуть о манере вести беседу, растянувшись *на животе* на циновках».



должно быть, были не менее прелестны, если мы будем судить о них по характерной медлительности, по очаровательной тягучести и плавности записанных диалогов, которые остались нам от древних народов. Но разговоры перипатетиков *во время прогулок* имеют характер более быстрый и оживленный. Вполне достоверно, что речь, произносимая стоя, глубоко разнится по своему характеру и большей торжественности от речи, произносимой в сидячем положении, более фамильярной и более краткой. Что же касается речей в лежащем положении и речей во время прогулок, то я не знаю примера таковых. Еще одно замечание. Довольно часто, и тем чаще, чем ближе к первобытной жизни, мужчины и женщины, особенно женщины, болтают между собой, только занимаясь чем-нибудь другим, либо делая какую-нибудь легкую работу, как делают крестьяне, которые перебирают овощи в то время, как женщины прядут, шьют или вяжут, либо закусывая и выпивая в кафе и т. п. — Садиться друг против друга нарочно, и исключительно для того, чтобы болтать, — есть утонченная привилегия цивилизации. Ясно, что то занятие, которому предаются во время разговора, не может не оказывать влияния на манеру болтовни. — Еще другой род влияния: утренний разговор всегда несколько отличается от разговора после обеда, или вечером. В Риме, когда во времена империи визиты происходили утром, ничего сходного с болтовней наших *five o'clock*'ов не могло быть. Мы не будем останавливаться на этих мелочах<sup>1</sup>.

Прежде всего нужно принять во внимание время, которое можно посвятить болтовне, количество и натуру тех лиц, с которыми можно болтать, количество и природу тех сюжетов, о которых можно болтать. Время, которое можно употребить на болтовню, увеличивается вместе с досугом, доставляемым богатством, благодаря усовершенствованиям производства. Число лиц, с которыми можно болтать, возрастает по мере того, как уменьшается первоначальная многочисленность языков, и расширяется область их распространения<sup>2</sup>. Количество сюжетов для разговора

<sup>1</sup> Демулэн в своей книге о *современных французах*, как бы созданной и выпущенной в свет нарочно для того, чтобы служить пробным камнем для его общих идей, объясняет влиянием оливкового дерева и каштана любовь южан к разговорам и их склонность к преувеличениям.

<sup>2</sup> Оно возрастает, само собой разумеется, вместе с количеством и с густотой населения. Болтают гораздо меньше — *caeteris paribus* — в деревнях, нежели в городах; значит, передвижение деревень ближе к

увеличивается вместе с прогрессированием наук, вместе с умножением и ускорением сведений всякого рода. Наконец, при помощи изменения нравов в демократическом смысле, не только увеличивается число людей, с которыми можно вести беседу, но изменяется также и их качество. Представители различных социальных слоев свободно вступают в разговор; и, благодаря переселению деревень в города, благодаря как бы превращению в города даже самих деревень, благодаря поднятию среднего уровня общего образования, природа разговоров становится совсем другой, новые сюжеты водворяются на место прежних. Словом, говорить на одном и том же языке, иметь знакомства и общие идеи, быть свободным от работы — вот необходимые условия болтовни. Итак, все, что объединяет и обогащает языки, все, что объединяет воспитание и образование, усложняя их задачу, все, что увеличивает досуг, укорачивая работу более продуктивную, совершаемую с помощью естественных сил, — все это способствует развитию разговора.

Отсюда мы можем видеть то огромное воздействие, какое оказали на него великие изобретения нашего века. Благодаря им пресса могла наводнить целый свет и пропитать его до самых последних народных слоев. И величайшей силой, управляющей современными разговорами, является книга и газета. Когда книги и газеты еще не наводняли мир, в разных городах, в разных странах не было ничего более различного, как сюжет, тон и ход беседы, и ничего более однообразного в каждом из них во всякое время. Теперь же совершенно наоборот. Пресса объединяет и оживляет разговоры, делает их однообразными в пространстве и разнообразными во времени. Каждое утро газеты доставляют своей публике материал для разговора на весь день. Можно всегда с уверенностью приблизительно сказать, о чем разговаривают люди в каком-нибудь кружке, в курительной комнате, в коридоре суда. Но сюжет разговора меняется каждый день или каждую неделю, за исключением случаев, к счастью весьма редких, национального или интернационального помешательства на одном предмете. Это все возрастающее сходство одновременных разговоров на все более

---

городам благоприятствует разговору и преобразовывает его. Но в маленьких городах, где жители по большей части ведут праздный образ жизни, и все знают друг друга, не болтают ли там больше, чем в больших городах? Нет, потому что там не достает предметов для разговора. Разговор, заслуживающий этого названия, представляет там собою только отголосок разговора больших городов.

и более обширном географическом пространстве является одной из наиболее важных характерных черт нашей эпохи, так как она в значительной степени объясняет нам все возрастающее могущество общественного мнения против традиции и даже против разума, и это все увеличивающееся несходство последовательных разговоров объясняет точно так же непостоянство мнения, этот противовес его могущества<sup>1</sup>.

Отметим одно обстоятельство, весьма простое, но имеющее известное значение. Эволюция разговора происходила вовсе не самопроизвольно, только в силу того, что люди болтали друг с другом. Нет, нужно было, чтобы новые случаи и новые источники разговора проявлялись благодаря последовательному ряду, частью случайному, частью логическому, разных открытий, географических, физических, исторических, изобретений земледельческих или промышленных, идей политических или религиозных, произведений литературы или искусства. Эти-то новшества, появляясь в каких-нибудь местах одно после другого, и делавшиеся достоянием избранных групп, прежде чем распространиться дальше, совершенствовались и преобразовывали там искусство разговора, заставляя отвергать известные архаические формы беседы, старинные обороты речи, шутовство, смешное жеманство. Если же под *эволюцией* разговора мы разумели бы беспрерывное и самопроизвольное развитие, то это было бы заблуждением. И это замечание приложимо ко всем родам эволюции, которые, если присмотреться к ним, представляются в виде попеременных введений, в виде последовательных и наложенных друг на друга прививок новых начал. В каком-нибудь маленьком городке, куда, предположим, закрыт доступ газете, и где нет удобного сообщения с внешним миром, как в прежние времена, жители могут болтать сколько угодно, но разговор не поднимется сам по себе выше фазы простых сплетен. Без помощи прессы деревенские обыватели, как бы они ни были болтливы, будут почти всегда говорить только об охоте или о генеалогии, и наиболее болтливые магистраты будут говорить только о праве или о

---

<sup>1</sup> Но сходные или непостоянные разговоры свидетельствуют собою об огромном прогрессе в смысле социальном, так как слияние классов и профессий, моральное единство отечества могут считаться настоящими только с того момента, когда люди, принадлежащие к самым различным классам и профессиям, будут в состоянии поддерживать друг с другом разговор. Мы обязаны этим благодеянием — взамен скольких зол — ежедневной прессе.

«движениях по службе», наподобие офицеров германской кавалерии, которые, по словам Шопенгауэра, только и говорят, что о женщинах и лошадях.

Волнообразное, так сказать, распространение подражания, этого мало-помалу уравнивающего и цивилизующего начала, одним из самых могущественных агентов которого является разговор, объясняет нам без труда необходимость того двойного стремления, которое мы замечаем при первом взгляде на эволюцию разговора, а именно, с одной стороны, численное увеличение пригодных друг для друга собеседников и сходных между собой реальных разговоров, а с другой стороны, именно в силу этого увеличения, переход от сюжетов узких, интересующих только небольшую группу, к сюжетам все более и более отвлеченным и общим<sup>1</sup>. Но если эта двойная склонность и одинакова везде, то она не мешает течению *эволюции* разговора быть настолько же отличным друг от друга в различных нациях, при различных ступенях цивилизации, насколько русло Нила или Рейна разнится от русла Ганга или Амазонки. Точки отправления многосложны, как мы уже видели; пути и конечный пункт, если только есть конечный пункт, не менее разнообразны. Мы не везде видим придворных шутов, нелепые выходки которых служили таким развлечением в средние века, не везде находим отели Рамбулье, появление которых произвело несносных

---

<sup>1</sup> До XVIII в. такой *салон*, как Гольбаха, не был возможен. Салон мадам де Рамбулье был салоном *литературным и напыщенным*, без малейшей свободы ума, — где если и было что-нибудь более или менее свободное, так это любовный и изящный разговор (еще бы!) — тогда как в салоне Гольбаха слышался, говорит Морелле, «разговор самый свободный, самый поучительный и самый оживленный, какой когда-либо можно было услышать; когда я говорю — свободный, я разумею свободу суждений о философии, религии, правительстве, так как вольные шутки из другой области были из него изгнаны». Совершенно противоположное происходило в XVI веке и в средние века: *gauloiserie* — это была свобода разговоров на темы о половых отношениях, которая заняла место всякой другой свободы. Салон Гольбаха, как салон Гельвециуса, как салоны всего конца XVIII в., собирал собеседников всех классов и всех национальностей — эклектизм совершенно немыслимый раньше. Как по огромному разнообразию происхождения собеседников, так и по необычайному разнообразию и свободе сюжетов для разговора, эти салоны сильно разнились от прежних собраний для разговора.

Трибулэ<sup>1</sup>. С достоверностью можно сказать, что во Франции исчезновение этих кривляк и шутов было лучшим признаком успехов разговора. Последним шутом был Ланжели при Людовике XIII. Но в Риме, в Афинах, на крайнем Востоке не было ничего подобного.

Благодаря чему — флирту ли, или дипломатическим сношениям, или же спорам церковным или школьным — искусство разговора достигло того, что стало сознавать себя? Это зависит от страны. Итальянский разговор особенно развился благодаря дипломатии, французский — благодаря галантности, царившей при французских дворах, афинский разговор развился благодаря софистической аргументации, римский разговор — благодаря дебатам на форуме, а во времена Сципионов — благодаря урокам греческих риториков. Можно ли удивляться, видя столь различные виды цветения, что цвета и ароматы цветка представляют собою такое большое разнообразие? Лансон видит в эпохе Сципионов такую эпоху, когда римляне научились разговаривать с изяществом и учтивостью. В диалогах Цицерона и Варрона он видит не только подражание диалогам Платона, но и «идеализированный, хотя живой и верный образ разговоров римского общества», разговоров, впрочем, лишенных приятности, в которых чувствуется школа, а не двор. Женщины войдут в круг собеседников позднее, во времена Северов и Антонинов, между тем как у нас они царили там во все времена, под совместным влиянием христианства и рыцарской галантности. Но не будучи необходимым, как мы видели, для всех родов прогресса разговора, присутствие женщин в общественной жизни имеет один дар, а именно, оно ведет разговоры к той степени изящества и гибкости, которая во Франции придает ему неотразимую прелесть.

Можно отметить другую общую склонность преобразований разговора. Пробегая по капризным излучинам своих разнообразных потоков, он стремится стать все в меньшей и меньшей степени борьбой, и все в большей и большей степени обменом идей. Удовольствие спорить соответствует детскому инстинкту, инстинкту котят, некоторых животных в детском возрасте, которые, подобно нашим детям, забавляются подобием битв в малень-

---

<sup>1</sup> Один из них, Брюскэ, забавляется тем, что выдает себя за врача в лагере Анны Монморанси и действительно отправляет, *ad patres* (к праотцам — прим. ред.) всех больных, вверенных его попечению. Вместо того, чтобы повесить его, Генрих II дал ему должность начальника почты в Париже.

ких размерах. Но пропорция спора в диалогах взрослых людей идет, постепенно уменьшаясь. Прежде всего существует целая категория споров, некогда бесчисленных, горячих, оживленных, которые быстро исчезают, например, манера торговаться заменена манерой выставлять *prix fixe* (*твердую цену — прим. ред.*). Затем, по мере того как сведения относительно разных вещей становятся более точными, более верными, более многочисленными, по мере того как мы имеем числовые данные относительно расстояний, населения городов и государств и т. д., все порождаемые коллективным самолюбием яростные споры, относительно того, стоит ли выше такая-то корпорация, такая-то церковь, такая-то фамилия в смысле кредита, могущества, было ли движение в таком-то порту значительней, чем в другом по количеству и силе судов и т. п., все эти споры становятся беспредметными. Споры еще более ожесточенные, которые вызывались конфликтом индивидуальных самолюбий в силу взаимного непонимания, прекращаются или же ослабляются благодаря более частым столкновениям и более полному знанию друг друга. Каждое новое сведение заставляет иссякнуть прежний источник спора. Сколько подобных источников иссякло с начала нашего века! Обычай путешествовать, распространяясь в обществе, много содействовал ясности той идеи, какую составляют одна от другой различные провинции и нации, и сделал невозможным возврат споров, порождаемых невежественным патриотизмом. Наконец все возрастающая религиозная индифферентность облегчает с каждым днем соблюдение вежливости, воспреещающей вступать в религиозные споры, бывшие некогда самыми ужасными и самыми страстными из всех существовавших. Политическая индифферентность, делаясь также общим достоянием, начинает производить аналогичное следствие в этой другой бурной области.

Правда, что прогресс ясных и достоверных сведений, разрешив прежние волнующие проблемы, поставил на место их новые и вызвал новые споры, но эти споры носят более безличный и менее обостренный характер, исключаяющий всякое чрезмерное увлечение: споры философские, литературные, эстетические, моральные, которые возбуждают противников, не задевая их за живое. Одни только парламентские споры, по-видимому, — может быть, действительно только по-видимому — ускользают от этого закона прогрессивного смягчения: можно было бы сказать, что в наших современных государствах фермент раздора стремится спрятаться там, как в своем последнем убежище.

Итак, можно утверждать, что будущность принадлежит мягкому и спокойному разговору, полному учтивости и любезности. Что же касается того, какой род разговора будет в конце концов преобладать, — любовный ли, философский, или эстетический — то нет ничего, что позволяло бы решить этот вопрос. Эволюция разговора без сомнения будет иметь несколько исходов точно так же, как она имела несколько начал и несколько различных путей, несмотря на некоторое единство общего наклона<sup>1</sup>.

#### IV

Бросив общий взгляд на эволюцию разговора, займемся подробнее разговором, культивируемым как особый род искусства и прелестное удовольствие<sup>2</sup>. В какой момент расцветает он в этом виде? Признаком более или менее достоверным такого расцвета может служить процветание драматического искусства, и особенно комедии, которая со своей исключительно диалогической

---

<sup>1</sup> Мне почти не нужно отмечать, — настолько мне кажется это очевидным — что эволюция разговора сообразуется с законами подражания, а именно с законом подражания, по которому высшему подражает низший, считающийся и сам себя считающий за такового. Мы увидим также, что наш пример подтверждает идею, на которой я настаивал несколько раз, что столицы в демократических государствах играют для них роль аристократии. В прежние времена новые формы и новые сюжеты разговора исходили от двора, от избранной аристократии, которой подражали дворцы больших городов и замки, а затем буржуазные дома. В наше время таким местом, откуда распространяется повсюду тон и содержание злободневных разговоров, является Париж, которому подражают большие города, средние, маленькие, до последней деревни, где читаются листки или парижские, или представляющие собою телеграфное эхо парижских сведений. Доказательством этого происхождения служит именно распространение парижского акцента до самого юга. Как за границей, так и у нас, акцент столицы распространился в провинциях, и никогда не было замечено обратного там, по крайней мере, где столица в действительности заслуживает этого названия. Если бы столицей Франции был Бордо, вся Франция говорила бы с гасконским акцентом.

<sup>2</sup> «Нам нужны, — пишет мадемуазель де Монпансье к мадемуазель де Мотвиль, — всякого рода люди, чтобы говорить о всякого рода вещах во время разговора, который на ваш и на мой вкус *есть величайшее удовольствие жизни, и почти единственное, по моему мнению*».

формой не могла бы пробраться в первый ряд литературы и утвердиться в эпических рассказах, где развивается только действие, если бы в действительной жизни не было примеров разговоров таких же блестящих и прекрасных, как битвы. Этим объясняется тот факт, что эпопея всюду предшествовала драме. Заметим, что разговоры всегда отражают действительную жизнь: эскимос, краснокожий говорят только об охоте, солдаты болтают о сражениях, игроки об игре, матросы о путешествиях. Привычный образ жизни воспроизводится ночью в сновидениях, а днем — в разговорах, которые являются сложными, взаимно внушенными сновидениями двоих или троих. Он воспроизводится также в письменной литературе, которая есть закрепление слова. Но драматическое искусство есть нечто большее, оно есть *воспроизведение*, а не только сохранение слова. Оно является в некотором роде отражением отраженья действительной жизни.

Еще более очевидным признаком царства культивированного слова является обыкновение в домах высших классов отделять одну комнату специально для болтовни (*causoir*). Уже существование такой публичной комнаты не менее многозначительно: у греков в их гимназиях принято было устраивать наряду с другими помещениями огороженное пространство, покрытое или непокрытое, называемое *экседра*, где собирались философы, и которое служило им *клубом*. Это было лучше, чем устраивать салон на вольном воздухе, как в наших деревнях, «под древесным шатром». Римские патриции времен империи, без сомнения по примеру греков, имели в своих богатых жилищах рядом с *триклиниями* и библиотеками галереи, называемые также *экседра*, где они принимали философов, поэтов и почетных посетителей.

Происхождение наших современных салонов весьма различно. Не ведут ли они свое происхождение от комнаты для разговора (*parloir*), существовавшей в монастырях, хотя она и отвечала потребности другого рода, а именно сделать где-нибудь исключение, и необходимое исключение для монастырского правила молчания?<sup>1</sup> Это кажется весьма вероятным. Как бы то ни

---

<sup>1</sup> Заметим, что обет молчания, добровольный отказ от всякого бесполезного разговора всегда считался самым суровым способом умерщвления плоти, наиболее жестоким и чаще всего нарушаемым правилом, какое только могло изобрести воображение основателей монастырских орденов. Это доказывает, до какой степени потребность болтать является всеобщей и непреборимой.



было, появившийся в итальянских дворцах в XV в. *салон* распространился в замках французского Ренессанса и в парижских отелях<sup>1</sup>. Но его распространение двигалось весьма медленно в буржуазных домах вплоть до нашего века, когда нет такого маленького помещения, которое не претендовало бы иметь свой салон. Читая сделанное Делангантом описание того дома, который построил себе его прапрадед в Креси в 1710 г., я замечаю, что там не было отдельной комнаты для приема посетителей. Залу, столовую, даже спальню, — все это совмещала в себе одна комната. А дело идет о представителе средней буржуазии, стоявшем на пути к обогащению. В этом доме обедали часто на кухне. Но в этом доме, слывшем тогда за весьма комфортабельный, был «кабинет отдохновения», предназначенный для одиночества, а не для приемов.

Во Франции отель Рамбулье, открывший свой салон почти на заре великого века, около 1600 г., был не первой колыбелью, но первой школой искусства болтать. И именно благодаря 800 *précieuses*, которые были воспитаны на этих уроках, и имена которых сохранились для потомства, распространилась, употребляя выражение одного современника, «всеобщая горячка разговора»; а из Франции, бывшей в те времена всемирным образцом, эта страсть вскоре распространилась и за границу. Она несомненно имела глубокое влияние на образование и преобразование французского языка. *Précieuses*, говорит нам аббат де Пюр<sup>2</sup>, «дают торжественный обет *чистоты стиля*, вечной войны с педантами и провинциалами». По словам Сомэза, «они говорят иногда *новые слова*, не замечая этого, но вводят их с наивысшей осторожностью и деликатностью, какую только можно вообразить».

По словам аббата де Пюр, вопросы языка и грамматики поднимаются в их разговорах ежеминутно, по каждому случаю. Одна из них не хочет, чтобы говорили: «я люблю дыню», так как это значит унижать слово «любовь». Каждая из них имеет свой день, когда назначается свидание противникам на этих турнирах болтовни. Отсюда появляется *Calendrier des ruelles*. Этот обычай приписывался мадемуазель де Скюдери, и наши бесчисленные современницы, имеющие также свой день, являются, сами не зная того, ее подражательницами.

<sup>1</sup> Каждая *précieuse* имела свой салон под именем *приюта, кабинета, алькова*.

<sup>2</sup> *Les mystères des ruelles*, роман (1656 г.).

Для *grécieuses* и для всех дам высшего общества, подражавших им, разговор был таким всепоглощающим искусством, что они остерегались на своих собраниях употреблять в дело свои десять пальцев, несмотря на совершенно противоположный обычай у женщин их эпохи.

«Я напрасно искал, — говорит Редерер<sup>1</sup>, — в произведениях того времени указания на то занятие, которое дамы высшего общества примешивали к разговору. Мне хотелось бы видеть в их руках иголку, челнок, вязальный крючок, клубок; мне хотелось бы видеть этих женщин вышивающими, занимающимися изящными рукоделиями». Это тем более удивительно, что позднее мы видим еще мадам де Ментенон, остающуюся верной прежним обычаям, разматывающую мотки ниток и считающую свои клубки во время болтовни с Людовиком XIV.

В обществе действительно цивилизованном, недостаточно, чтобы мебель и самые незаметные предметы первой необходимости были произведениями искусства, нужно еще, чтобы малейшие слова, малейшие жесты придавали без малейшей аффектации их характеру полезности характер изящества и чистой красоты. Нужно, чтобы были «стильные» жесты, как и «стильная» мебель<sup>2</sup>. В этом смысле выделяется наш аристократический свет XVII и XVIII веков. Но не будем думать, что эта склонность его была исключительной. Под другими формами эта потребность чувствовалась во всяком утонченном обществе. Она чувствуется еще в наше время в эстетических оазисах нашей демократии. Не выходит ли, как говорит Тэн, что вкус к утонченному разговору и к салонной жизни был не только более интенсивен в высших классах во времена старого режима, но и являлся характерической и единственной особенностью французского общества во время этой фазы его развития?

Здесь этот столь пронизательный ум впадает в ошибку, и в ошибку немаловажную. Например, он приписывает салонной жизни склонность к общим идеям в старинной Франции. Но Токвиль, найдя в свое время любовь к общим идеям гораздо более развитой в Соединенных Штатах, нежели в Англии, несмотря на сходство рас и нравов, объясняет это, мне кажется вернее, влиянием режима равенства. Удовольствие разговаривать об об-

---

<sup>1</sup> *Memoires pour servir à l'histoire de la société polie en France.* (1835).

<sup>2</sup> Тюрго, говорит Морелле, в своей юности пользовался нерасположением своей матери, «которая находила его противным, потому что он не умел кланяться с настоящей грацией».

щих идеях или о моральных обобщениях было любимо также и в других местах, но оно не породило салонной жизни. Действительно, салон есть только признак, как мы уже говорили, один из признаков, а не единственная рамка утонченного разговора, который и без него зародился в Греции во времена Перикла, в Риме во времена Августа, в средние века в итальянских городах. Эта потребность разговаривать развивала то жизнь гимназий, то жизнь форума, то жизнь монастырей, особенно женских монастырей, где разговор в эпоху Людовика Святого должен был быть очень оживленным и интересным; епископ Эд Риго, посетив их, был скандализован. У нас, в течение этого столетия, стремится особенно развиться жизнь кафе и кружков, несмотря на умножение «салонов», порождаемых подражанием и тщеславием.

Светскость старого режима была порождена сложными элементами; упомянем, кроме удовольствия разговаривать, удовольствие копировать двор или копии двора, т. е. иерархическую группировку мужчин и женщин под председательством одного лица, к которому все относятся с почтением, и которое представляет собою монарха в уменьшенном виде: хозяин или хозяйка дома. Способ поведения в такой среде не состоит исключительно в искусстве поддерживать разговор, он предполагает прежде всего ловкое, уверенное, деликатное распределение нюансов уважения по различию достоинств и рангов; и удовольствие от удовлетворенных таким образом самолюбий в подобном, в высшей степени иерархическом, обществе ценится по крайней мере наравне с удовольствием от обмена и соглашения идей. Наконец, род гегемонии, царение в разговоре, предоставленное дамам во французском салоне, не могло бы быть понятно без старинного рыцарского установления, обломки которого собрали монархические дворы.

Те упреки, которые Тэн в своей книге о *старом порядке* обращает к светской жизни, не могут относиться ко всей жизни разговора. Не стоит считать, что эта жизнь была обязательно «искусственной и сухой». И даже по отношению к наиболее аристократической салонной жизни это справедливо только до известной степени. Прежде всего, салонная жизнь может сколько угодно выказывать уважение к общественной иерархии, как прежде всего, она стремится к общественной гармонии путем взаимной деликатности в обращении с самолюбиями; в силу необходимости должно произойти то, что даже соблюдая расстояния рангов, она будет уменьшать их. О ней, как о дружбе, можно сказать:  *pares aut facit aut invenit*; она рождается только между равны-

ми, или она уравнивает; она рождается только между подобными, или она ассимилирует. Но она уравнивает и ассимилирует только постепенно. Не подлежит сомнению, что равенство прав и рангов является единственным устойчивым и окончательным равновесием самолюбий, находящихся в продолжительном соприкосновении. Впрочем, она, как всем известно, есть простая условная маска, прозрачная вуаль, прикрывающая глубокое неравенство талантов и индивидуальных достоинств, и служит для придания им большей цены. Эта фикция равенства есть окончательный расцвет общественности. При королевском дворе, вопреки всем преградам этикета, привычка жить и разговаривать с королем устанавливает между ним и его подданными почти уравнивающую фамильярность. «Ваше Величество, — говорил Людовику XVI маршал Ришелье, свидетель двух предшествовавших царствований, — при Людовике XIV не смели сказать ни слова, при Людовике XV говорили потихоньку, при Вашем Величестве говорят громко». Но уже гораздо раньше того, как уменьшилось расстояние между придворными и царственным хозяином дома, расстояние, разделявшее приглашенных, сглаживалось мало-помалу, и бесконечные ступени благородства начали сливаться в посещениях Двора.

«Искусственная»? Правда ли, что салонная жизнь — прибавим жизнь кружков, кафе и т. д., — искусственна? Общительная натура человека не толкает ли его всегда и везде к этим общим играм, к этим собраниям, ради удовольствия, под самыми разнообразными формами? И не так ли же естественны для него эти формы, как *стадное чувство* естественно для барана?

Что касается той «сухости сердца», которую обязательно порождает салонная жизнь, то причину этого я вижу в том чрезмерном неравенстве, которое создается между родителями и детьми, и даже между друзьями, благодаря аристократическому почтению, пока оно еще существует вполне. Но лишь только, благодаря самому действию салонной жизни, как мы сейчас сказали, это неравенство начинает уменьшаться, появление естественных чувств нежности и страсти охотно допускается; и выставление их напоказ может даже превратиться в светскую аффектацию, как это и было в продолжение всей второй половины XVIII века, благодаря «возвращению к природе», ко всему, что лишено искусственности, к далеким временам. Один тот факт, что салонная жизнь во время одной из своих фаз, при своей окончательной фазе и, так сказать, при своем падении благоприятствовала распространению чувствительности и нежным излипаниям,

этот факт показывает нам ясно, что сухость сердца не является существенным характерным свойством светскости. Правда, что салонная жизнь во все продолжение старого порядка вредила семейной жизни. Но то же самое можно сказать о всяком поглощающем занятии, будь то занятие профессиональное, эстетическое, политическое или религиозное. То, что мешает семейной жизни теперь, это уже не салонная жизнь, но это жизнь кружка и кафе, для рабочего — жизнь мастерской, для адвоката — жизнь суда, для политического деятеля — жизнь избирательная и парламентская. Позднее, и еще с большей силой, если бы мечта коллективистов была осуществима, это была бы жизнь фаланстерии.

Мы не можем опять-таки считать одним из существенных характерных признаков светскости то, на что Тэн указывает, как на наиболее присущую ей и наиболее заметную черту, а именно отвращение к сильным новшествам, боязнь всего оригинального. Действительно, следствием всякой интенсивной общественной жизни является такой стремительный поток нравов, мнений, обычаев, что трудно противиться ему, и большинство средних оригинальностей бывают потоплены им. Одни только сильные и исключительные оригинальности уцелевают в нем, и тогда они становятся очагом новой заразы, который распространяет их личную печать, заменяя его, или накладывая ее на прежнее клеймо. Такова была проповедь одичания Руссо, которая, прозвучав диссонансом среди необузданной светской жизни того времени, переделала ее по своему вкусу. Можно ли также сказать, что люди, подобные Дидро<sup>1</sup>, Вольтеру, и многие другие не могли заставить принять свою личность, как только притупив ее?

---

<sup>1</sup> Морелле, среди других современников Дидро, восхищается его разговором. «В нем было много могущества и очарования; его спор был оживлен полной искренностью, был тонок без неясности, разнообразен в своих формах, блистал воображением, был обилён идеями и будил идеи у других: в продолжение целых часов можно было отдаваться ему, как течению реки». — Начиная со второй половины последнего столетия, именно частные светские разговоры были скрытыми источниками великого потока революции. Вот где самое страшное возражение предполагаемому мизонеизму салонов.

## V

Эволюция салонной жизни может послужить нам для того, чтобы рассмотреть с другой и более уловимой стороны эволюцию разговора. — Называют «обществом» — превосходное выражение, так как оно напоминает, что общественное отношение *par excellence*, единственное достойное этого названия, есть обмен идей — группу людей, имеющих обыкновение собираться где-нибудь для того, чтобы поболтать друг с другом. В самых низших народных слоях существуют «общества», но они настолько же малы, насколько многочисленны. В глубине деревень, наиболее удаленных, два или три крестьянина привыкнут встречаться на посиделках или в кабаке, и пусть на посиделках больше работают, а в кабаке больше пьют, нежели говорят, но там все-таки говорят. Это уже есть зародыш салона и кружка. По мере того как мы поднимаемся вверх по общественной лестнице, мы видим, что количество обществ уменьшается, но зато каждое из них увеличивается. Кафе рабочих разделяются уже на более многочисленные группы обычных собеседников и спорщиков. Мелкие торговцы имеют салон, очень тесный, где бывает в уменьшенном виде копия собраний высшего класса. Эти последние в большинстве средних городов едва разделяются на два или три «общества», и иногда даже, — были такие факты, — и они стремятся стать общими, они образуют даже «одно общество», нечто вроде светской корпорации. Даже в самых больших городах замечается такое стремление, и в Париже, в Вене, в Лондоне, везде назло прогрессу демократии, класс, считающийся еще за самый блестящий если не самый высший, изыскивает случаи для того, чтобы фрагменты его, уже очень объемистые, могли встречаться и объединяться.

Таким образом, хотя и за многими исключениями, общее правило будет то, что объем *общества* находится в обратном отношении с численным значением того класса, к которому оно принадлежит; оно будет тем объемистее, чем к менее многочисленному классу будут принадлежать его члены. От черни к аристократии социальная пирамида идет все суживаясь, в то время как общества расширяются. Это объясняется большим досугом, большим количеством знакомств, общих сюжетов разговора по мере того, как мы взбираемся по социальной лестнице; и в то же самое время это показывает постоянное стремление социального прогресса расширить насколько возможно общение умов, их взаимное посещение и проникновение, так как именно при разговоре умы посещают друг друга и взаимно проникают друг в друга.

Сюжеты разговора различны в различных социальных слоях. О чем говорят в маленьких крестьянских кружках, собравшихся на посиделки? Немного больше о дожде и о хорошей погоде, чем где-либо в другом месте, потому что эта тема, отнюдь здесь не праздная, связана с надеждами или опасениями за будущий урожай. Только во время выборных периодов говорят о политике. Тогда занимаются соседями, высчитывают их доходы, сплетничают. Эта профессиональная и личная сторона преобладает в разговорах рабочих и мелких коммерсантов; но политика, понимаемая сообразно взглядам ежедневной газеты, заменяет дождь и хорошую погоду как основной сюжет. Политическая метеорология водворилась на место небесной метеорологии, что является уже общественным прогрессом. Даже юристы и врачи, хотя и любящие иногда говорить о своей профессии, часто стараются забыть о ней и отваживаются высказать некоторые соображения философского или научного характера<sup>1</sup>. Наконец, дойдя до *общества* наиболее

---

<sup>1</sup> Так дело было не всегда, и чем больше мы углубляемся в прошлое, тем более мы замечаем, что люди даже средних классов, запирают себя в круг своих личных занятий. В одном из писем к мадемуазель де Робинан (1644) мадемуазель Скюдери, ради шутки, описывает путешествие, которое она совершила в почтовом дилижансе, и те разговоры, которые завязались между компаньонами путешествия, а именно одним молодым «partisan'ом» (финансистом), плохим музыкантом, горожанкой из Руана, только что проигравшей процесс в Париже, бакалейщицей с улицы Сент-Антуан и торговкой свечами с улицы Мишель Лепонт, стремившейся увидеть «море и страну», молодым школьником, возвращавшимся из Буржа к своим занятиям, плутом буржуа, «остроумцем из нижней Нормандии, который говорил остроумнее, чем говорил их аббат Франкетто, когда он были в моде, и который, желая высмеять всю компанию, сам был смешнее всех других». И вот, когда все эти люди принимаются болтать, то они говорят каждый о своих личных или профессиональных занятиях. «Partisan» «постоянно возвращается к вопросу о су и ливрах». Музыкант беспрестанно хочет петь. Торговка свечами думает о своей лавке. «Молодой школьник говорит только о законодательстве, об обычаях и о Кюжасе» по каждому поводу. «Если разговор заходил о красивых женщинах, он говорил, что у Кюжаса была красивая дочь». Итак, мы видим ясно, что этот диалог представлял собою только чередующиеся монологи, и что здесь не было общих сюжетов, способных заинтересовать сразу всех собеседников, не было «общего разговора». В наше время, благодаря газетам, такие общие сюжеты всегда существуют между самыми различными по классу и по профессии собеседниками, иногда их бывает даже слишком много. Итак, мадемуазель де Скюдери называет это случайное общество путешественников *плохой компанией*. Действительно, в эту эпоху, для того чтобы наслаждаться прелестью *общего*

культивированных, мы увидим, что разговоры, вызванные профессией и текущей политикой, сводятся к *минимуму*, и разговор вращается вокруг общих идей, взаимно возбуждаемых чтением, путешествиями, первым прочным и продолжительным образованием, личными размышлениями.

Что касается этих последних групп, то мы видим, что ежедневная пресса перестает быть для них метрономом и обычным руководителем разговора, или по крайней мере ее возбуждающее действие менее непосредственно, если не менее глубоко. Она служит для них прямой пищей только тогда, когда какая-нибудь сенсационная новость или захватывающий вопрос наполняет газеты. Вне таких случаев разговор эмансипируется, принимает непредвиденное течение, выкапывает чуждые, экзотические сюжеты и, таким образом, образует из «общества» *сверхкультурных* людей, магический круг, который безостановочно расширяется в пространстве и во времени, объединяя между собой все избранные элементы цивилизованных наций и связывая их вместе с «порядочными людьми» прошлого в каждой из них<sup>1</sup>.

---

*разговора*, прелестью интереса, общего для всех разговаривающих, нужно было жить в замкнутом и огражденном стенами обществе, состоящем из людей одного и того же класса и одинакового образования, как отель Рамбулье. Этим объясняется притягательная прелесть этих убежищ ума. Лафонтен в письмах к своей жене также говорит кое-что о разговорах своих компаньонов по путешествию в почтовом дилижансе. Они были весьма бессодержательны, за исключением одного оживленного спора, возникшего между католиками и протестантами из-за догматов.

<sup>1</sup> Действительно, весьма вероятно, что если бы *précieuses* XVIII в. могли возродиться и, естественно, начать разговаривать, то их разговор был бы для нас интересен. Наверное он представлял бы огромнейший интерес для наших феминистов. В их собраниях, по словам аббата де Пюр, «разбирают, какой из наук или какому роду поэзии принадлежит преимущество». Поднимается вопрос о том, нужно ли историю предпочитать романам, или романы истории. Спрашивают о том, какой свободой пользуются и имеют право пользоваться женщины в обществе и в супружеской жизни. Свобода, восхваляемая по этому случаю, больше похожа на владычество, чем на независимость. Мне кажется, произносит говорящая, что подозрения мужа дают жене право грешить. Одна *précieuse* хвалит Корнеля, другая предпочитает ему Бансерада как поэта более галантного, и придворного человека. Третья берет сторону Шапелэна. У Скюдери рассуждают о Кино... Иногда случается, что одна из *précieuse* оплакивает своего друга, и *вдруг* начинает рассуждать о печали. Она думает, что суть печали должна состоять в том, чтобы вновь переживать то наслаждение, которое доставлял покойный. Одна антагонистка восстает против этой системы, в которой она усматривает нечто варварское.



Эти «порядочные люди» всех времен, образцовый тип наивысшей общительности, узнаются по неистощимому богатству всегда новых тем для разговора, которые доставляет им прежде всего общее и одинаковое со всеми образование, блестяще увенчивающее специальное и техническое образование. Я не хочу разрушать по этому поводу в двух словах такую важную и такую мучительную задачу, какова реформа классического образования; но я позволю себе заметить, что если бы сознавали все огромное общественное значение разговора, то не замедлили бы почерпнуть из этого аргумент достаточно солидный, аргумент во всяком случае достойный рассмотрения, в пользу сохранения традиционной культуры в широких размерах.

Тогда стало бы ясно, что главная польза изучения языков и древней литературы заключается не только в том, чтобы поддерживать социальное родство последовательных поколений, но и в том, чтобы установить в каждую эпоху тесную интеллектуальную и умственную связь между всеми фракциями избранных известной нации, или даже между избранными всех наций и позволить всем этим избранным разговаривать друг с другом с интересом, с удовольствием, к какой бы профессии они ни принадлежали, и из какого бы класса, из какой страны они ни происходили.

Предположите, что изучение латинского языка и латинских авторов, точно так же, как изучение философии и истории философии, было вдруг уничтожено во французских школах: вскоре произошел бы разрыв частей в основе французского ума, новые поколения перестали бы принадлежать к тому же *обществу*, как и старшее поколение; и различные французские профессионалы, доктора, инженеры, адвокаты, военные, промышленники, получившие специальное образование, были бы *в общественном смысле* чуждыми друг другу. У них не было бы другого общего интереса, а следовательно и другого разговора, как санитарные вопросы, дождь и хорошая погода или газетная политика. И тогда вдруг «душа Франции» была бы разбита не на два, а на сто кусков.

Я знаю, что в глазах экономистов прежней эпохи польза для культурных людей от возможности эксплуатировать один и тот же источник разговора должна представляться самым бесплодным пустяком. Разговаривать для них — это значит терять свое время, и очевидно, что если вся социальная жизнь должна сводиться к утрированному производству, к производству ради производства, то слово имеет право быть терпимо только как сред-

ство обмена. Но такое общество, которое осуществило бы этот идеал, где люди говорили бы друг с другом только для того, чтобы сговориться о деле, покупке, одолжении, соединении, могло ли бы такое общество назваться действительно обществом? Не было бы тогда ни литературы, ни искусства, не было бы удовольствия поболтать между друзьями, даже за обедом. Молчаливые обеды, буфет между двумя скорыми поездами, жизнь деловая и немая: если мы оттолкнем эту перспективу, если мы подумаем о свойственной нам всем существенной потребности все лучше и лучше понимать друг друга для того, чтобы все больше и больше любить и извинять друг друга, и если мы согласимся, что удовлетворение этой глубокой потребности есть самый лучший и самый сладкий плод цивилизации, то мы должны будем признать главной обязанностью правительств не делать ничего, что могло бы пресечь распространение интерспиритуальных отношений, и делать все, что могло бы ему благоприятствовать.

## VI

После того, как мы говорили о разновидностях разговора, о его видоизменениях и причинах, скажем несколько слов о его последствиях, сюжете, которого мы едва коснулись. Будем классифицировать его последствия, чтобы не пропустить какого-либо важного из них, по различным большим категориям социальных отношений. С точки зрения лингвистической, он сохраняет и обогащает языки, если не расширяет их территориального владения, он порождает различного рода литературы и в особенности драму. С точки зрения религиозной, он является самым плодотворным средством проповеди, он распространяет поочередно догматы и скептицизм. Религии утверждаются и ослабляются не столько благодаря проповедям, сколько благодаря разговорам. С точки зрения политической, разговор до прессы является единственной уздой для правительств, недоступное убежище свободы; он создает репутацию и обаяние, он располагает славой, и при помощи ее властью. Он стремится уравнивать собеседников, уподобляя их друг другу, и разрушает иерархию в силу того, что выражает ее. С точки зрения экономической, он объединяет суждения относительно пользы различных богатств, создает и точно определяет идею стоимости, устанавливает лестницу и систему стоимостей. Таким образом, эта ненужная болтовня, простая потеря времени в глазах утилитарных экономистов, есть в действительности экономический агент наиболее неизбежный, потому

что без него не было бы мнения, а без мнения не было бы ценности, основного понятия политической экономии и, по правде сказать, многих других специальных наук.

С точки зрения моральной, он борется беспрестанно, и чаще всего с успехом против эгоизма, против склонности преследовать в поступках чисто индивидуальные цели; он намечает и разрабатывает телеологию вполне социальную, противопоставляя ее этой индивидуальной телеологии; ради этой социальной телеологии он посредством похвал и порицаний, которые раздаются кстати и передаются заразительно, распространяет спасительные иллюзии или условную ложь. Благодаря взаимному проникновению умов и душ, он содействует зарождению и развитию психологии именно не индивидуальной, а прежде всего социальной и моральной. С точки зрения эстетической, он порождает вежливость при помощи любезности сперва односторонней, затем сделавшейся взаимной; он стремится согласовать между собой суждения вкуса, в конце концов достигает этого и вырабатывает таким образом поэтическое искусство, эстетический кодекс, имеющий верховное владычество в каждую эпоху и в каждой стране. Итак, он могущественно содействует делу цивилизации, первыми условиями которой являются вежливость и искусство.

Гиддингс в своих *Принципах социологии* делает замечание относительно разговора, и замечание важное. По его мнению, когда два человека встречаются, то разговор, который они ведут друг с другом, есть только дополнение к их взаимным взглядам, которыми они окидывают друг друга и пытаются узнать, принадлежат ли они к одному и тому же общественному виду, к одной и той же общественной группе.

«Мы лелеем, — говорит он, — иллюзию, которая заставляет нас верить, что мы болтаем, потому что интересуемся теми вещами, о которых говорим, точно так же, как мы лелеем самую сладостную из всех иллюзий, а именно веру в искусство для искусства. На самом же деле всякое выражение, вульгарное или художественное, и всякое общение, начиная с случайного разговора при первом вступлении в отношения и кончая самыми глубокими интимными разговорами настоящей любви, все это вытекает из источника элементарной страсти взаимно познакомиться друг с другом и установить сознание вида». Что первый разговор двух встретившихся незнакомых друг другу людей *всегда* имеет характер, указанный Гиддингсом, это уже оспоримо, хотя и верно во многих случаях. Но вероятно, что дальнейшие разговоры, происходящие между ними, после того как состоя-

лось их взаимное знакомство, носят совершенно другой характер. Они стремятся соединить их в одно общество или укрепить это соединение, если они уже принадлежат к одному и тому же обществу. Они стремятся, следовательно, породить и подчеркнуть, расширить и углубить *сознание вида*, а не просто только определить его. Дело идет не о том, чтобы обнажить свои границы, но чтобы беспрестанно расширять их.

Возвратимся к некоторым из этих общих последствий. Когда цивилизованный народ, благодаря вторичной утрате безопасности, поломке мостов, негодности дорог к употреблению, отсутствию писем, общественных связей, впадает в варварство, он становится относительно молчаливым. Там много говорили прозой и стихами, словесно и письменно; там теперь почти совсем не говорят. До какой степени любили разговаривать в момент перед падением империи, можно составить себе понятие по различным местам у Макробия, современника Феодосия Младшего. В его *Сатурналиях* (как известно, написанных в диалогах) один из собеседников говорит другому: «Обращайся кротко с твоим невольником, допускай его милостиво к разговору». Он порицает, по-видимому редкий в его эпоху, обычай тех, которые не позволяют своим невольникам разговаривать с ними, прислуживая им у стола. В другом месте одно из его действующих лиц говорит: «В течение всей моей жизни, Деций, для меня не было ничего лучше, как употреблять досуг, остающийся мне от защиты, на разговор в обществе образованных людей, вроде тебя например. Хорошо направленный ум не может найти отдохновения более благородного и полезного, как беседа, где вежливость украшает как вопрос, так и ответ». Правда, эта последняя фраза напоминает уже приближающееся варварское состояние, если только эта любовь к разговору, немного торжественному и многоречивому, который был осмеян Горацием, не объясняется ораторскими привычками этого адвоката.

Изолированный крестьянин молчит; варвар в своем крепком жилище, в своем ущелье в скале не говорит ни слова. Когда он случайно заговорит, то для того, чтобы сказать речь. Не этим ли столь простым фактом следует объяснить разложение латинского языка и появление неолатинских языков? Если бы галло-романские селения продолжали существовать и сообщаться между собой после падения императорского трона так же, как и прежде, то по, всей вероятности, никогда не перестали бы говорить по-латыни на всей территории империи. Но, за недостатком беспрестанного упражнения в слове на огромном пространстве и

в самых изменчивых условиях, упражнения, которого требовало сохранение такого богатого и сложного языка, неизбежно должно было случиться, что большинство слов погибло, осталось без объекта, и что деликатное чувство нюансов склонения и спряжения утратилось и изгладилось среди земледельцев, пастухов, варваров, обреченных на одиночество за неимением хорошо содержащихся дорог и хорошо урегулированных отношений. Что же тогда случилось? Когда эти существа, обыкновенно молчаливые, чувствовали потребность сообщать друг другу какую-либо идею, всегда грубую, то их заржавленный язык отказывался доставить им точное выражение, и смутное выражение удовлетворяло их вполне; сужение их словаря влекло за собой упрощение их грамматики; латинские слова, латинские обороты и окончания приходили им на память только в искаженном и испорченном виде, и, для того чтобы быть понятыми, они должны были усиливать свою изобретательность, и тем в большей степени, чем больше они утратили привычку говорить правильно и легко. И человек оказался тогда почти в том же состоянии, в каком он находился в доисторические времена, когда, не владея еще даром слова, он должен был мало-помалу изобретать слово также при помощи изобретательных попыток, сосредоточивая на удовлетворении насущной потребности словесного общения все свои умственные способности. И таким образом из целой массы нововведений, придуманных людьми с VII до X века для того чтобы легче понять друг друга, произошли романские языки. За отсутствием частых и разнообразных разговоров латинский язык разложился, и начал образовываться зародыш неолатинских языков, а позднее, благодаря возврату к общественной жизни, к обычным разговорам, неолатинские языки увеличились и расцвели. Не так ли же точно было со всяким разложением и зарождением языка?

Если прекращение разговоров разлагает культивированные языки или же ослабляет их, то возврат к общественным отношениям и необходимо сопровождающим их разговорам есть первая причина образования новых языков. Точно так же этот процесс образования будет медленнее или быстрее, сообразно с тем, будет ли он происходить в стране, где население весьма редко и раздробленно, или же в области относительно густо заселенной и централизованной. Именно такой контраст представляет нам Англия в средние века по сравнению с неолатинскими народами. И не может ли этот контраст служить для объяснения того, почему французским диалектам понадобилось столько веков для

того, чтобы образоваться, и диалекту Иль-де-Франса для того, чтобы утвердиться во всех французских провинциях, в то время как английский язык возник и распространился с быстротой, поражающей лингвистов? Это потому, что, как указал Бутми вместе с другими историками, централизация власти утвердилась в Великобритании гораздо раньше, чем у нас, и благодаря заключению жителей на острове могущественно содействовала их более быстрому объединению. Ассимилирующее подражание действовало там, переходя от группы к группе, с большей силой, нежели во Франции, и уже начиная с средних веков. Представьте себе все, что предполагает умножение разговоров между индивидуумами и между людьми различных рангов, классов, разных графств, постепенное исчезновение многочисленных наречий или только двух различных языков, каковы англосаксонский и романские, перед одним языком, который создается и развивается в то время, как распространяется, который даже своим образованием обязан своему распространению. И действительно, характерная черта английской жизни в средние века та, что это — общая жизнь всех классов в непрерывном столкновении и обмене примеров. Прибавим мимоходом, что там, как и везде, подражание особенно распространялось от высших к низшим<sup>1</sup>, начиная с столь блестящих дворов, где разговор был уже так благороден и утончен; и нужно искать объяснения этой столь быстрой и глубокой ассимиляции в установлении английской иерархии, в сближении ее последовательных ступеней, достаточно различных для того, чтобы существовал престиж высшей ступени, и недостаточно разделенных для того, чтобы отнять охоту к соревнованию.

Политическая роль разговора не менее значительна, нежели лингвистическая. Существует тесная связь между функционированием разговора и изменениями общественного мнения, от чего

---

<sup>1</sup> Можно видеть применение этого закона даже у дикарей. Описывая нравы диких акадийцев, Шарлевуа (*Histoire de la nouvelle France*) пишет: «Каждое местечко имело своего *sagamo* (начальника), не зависящего от других; но все они поддерживали между собой некоторого рода сношения, которые тесно связывали всю нацию. Они употребляли большую часть хорошего времени года на то, чтобы посещать друг друга и держать советы, на которых говорилось об общих делах». Таким образом, привычка разговаривать регулярно и периодически и специально посещать друг друга родилась у начальников племен и, распространяясь, содействовала взаимной ассимиляции соседних народов.

зависит переменчивость власти. Если где-нибудь общественное мнение изменяется мало, медленно, остается почти неподвижным, это значит, что разговоры там редки, скромны, вращаются в узком круге сплетен. Если же общественное мнение подвижно, если оно переходит от одной крайности к другой, это значит, что разговоры там часты, смелы, свободны. Где мнение слабо, там, значит, говорят без одушевления; где оно сильно, там, значит, сильно спорят; где оно яростно, там, значит, разгораются страсти во время спора; где оно бывает исключительным, требовательным, тираническим, это значит, что разговаривающие находятся во власти коллективного безумия, в роде пресловутого «дела»; где оно носит либеральный характер, там, значит, разговоры разнообразны, свободны, питаются общими идеями.

Эта связь между мнением и разговором так тесна, что позволяет нам восстановить разговор в известных случаях, когда у нас нет документов относительно последнего, но нам известно первое. У нас мало сведений относительно разговоров прошедших лет; но у нас есть некоторые сведения касательно того, в какой мере мнение имело решающее влияние здесь или там, в той или другой нации, в таком-то и таком-то классе на решение политической или судебной власти. Например, мы знаем, что правительства Афин в гораздо большей степени, нежели правительства Спарты, были созданы мнением; отсюда мы были бы в праве сделать заключение, если бы не имели сведений из других источников, что афиняне были гораздо говорливее лакедемонян. Во время Людовика XIV мнение двора имело большое влияние, гораздо большее, чем думают, на решение монарха, который бессознательно подчинялся ему; мнение *города* не шло в счет, а мнение провинций вовсе игнорировалось. Это означает, что при дворе разговаривали много об общественных делах, в городе говорили мало и еще меньше во всей остальной Франции. Но в момент революции эти пропорции были разрушены, потому что пример политического разговора, данный высшими сферами, мало-помалу спустился до самой глубины деревень.

Итак, эволюция власти объясняется эволюцией мнения, которое само объясняется эволюцией разговора, а этот в свою очередь объясняется целым рядом различных источников: воспитанием в семье, школой, обучением, проповедями, политическими речами, книгами, газетами. И периодическая пресса питается сведениями из целого света, которые касаются всего, что происходит исключительного, гениального, изобретательного, нового. Газеты бывают более или менее интересны, оказывают влияние в том

или ином смысле сообразно с характером и окраской новостей, которые появляются и подчеркиваются газетами. И среди этих новшеств, которыми питается пресса, нужно поставить на первом плане действия власти, ряд фактов политических.

Таким образом, в конце концов получается, что сами действия власти, размельченные прессой и пережеванные разговором, в широкой степени содействуют преобразованию власти. Но власть могла бы действовать как угодно; она не претерпевала бы эволюции, если бы ее действия не были разглашены прессой и не подверглись обсуждению при разговоре; она оставалась бы в том же состоянии, несмотря на изменения, усилия или ослабления, которые приходили бы от новшеств другого рода, а именно религиозных и экономических, если бы они получили широкое и всеобщее распространение. Там, где власть осталась очень устойчивой, мы можем вообще быть уверены, что разговор был очень скромнен и замкнут<sup>1</sup>. Итак, для того, чтобы вернуть власти ее прежнюю устойчивость, устойчивость первобытных времен, когда люди не разговаривали вне узкого круга своей семьи, нужно было бы начать с установления *всеобщей немоты*. При такой гипотезе сама всеобщая подача голосов была бы бессильна что-нибудь изменить.

В смысле политическом нужно считаться не столько с разговорами и спорами в парламенте, сколько с разговорами и спорами частными. Именно там вырабатывается власть, в то время как в палатах депутатов и в кулуарах власть изнашивается и часто лишается значения.

Когда решения парламентов остаются без отголоска, в том случае если пресса не разглашает их, они не имеют почти никакого влияния на политическую ценность представителя власти. То, что происходит в этих закрытых местах, имеет отношение

---

<sup>1</sup> Во времена Бэкона в Англии зарождался разговор, и он посвящает этому предмету несколько слов в своих *Опытах морали и политики*, но он дает не *общие утверждения*, которые были бы для нас очень интересны, а *общие советы*, которые для нас не так интересны. Если мы будем судить по этим советам, то английские разговоры в то время должны были быть необыкновенно скромны, гораздо скромные разговоры на континенте, возбужденных религиозными войнами. «Что касается шутки, — говорит он, — то есть вещи, которые никогда не были предметом ее: например, *религия, государственные дела, великие люди, лица, утвержденные в высоком звании* (высшие чиновники, вроде него)», и проч.



только к перемене власти, но отнюдь не к ее силе и к ее настоящему авторитету. Кафе, клубы, салоны, лавки, какие-либо места, где ведутся разговоры — вот настоящие фабрики власти. Не надо, однако, забывать, что эти фабрики не могли бы функционировать, если бы не существовало первого материала, который они обрабатывают, а именно — привычки к послушанию и доверию, созданной семейной жизнью, домашним воспитанием. Власть выходит оттуда, как богатство выходит из мануфактур и фабрик, как наука выходит из лабораторий, из музеев и библиотек, как вера выходит из изучения катехизиса и материнских наставлений, как военная сила выходит из пушечных заводов и казарменных упражнений.

Вообразите французских граждан, запертых в одиночные тюрьмы и предоставленных собственным размышлениям без малейшего взаимного влияния, и после этого идущих вотировать... Но они не могли бы вотировать! Действительно, они или, по крайней мере, большинство из них не могли бы отдать предпочтения Петру или Павлу, той программе или иной. Или же, если бы у каждого из них была своя собственная идея, то получилась бы настоящая выборная кутерьма.

Конечно, если бы какой-нибудь государственный человек, вроде Мирабо или Наполеона, мог бы быть *лично* известен всем французам, то не нужно было бы разговора, для того чтобы основать его авторитет, и французы могли бы быть немыми, и все-таки они в огромном большинстве были бы не меньше очарованы им. Но так как это невозможно, то необходимо, как только протяжение государства переходит границы маленького города, чтобы люди болтали между собой для того, чтобы создать над собой престиж, который должен управлять ими. В сущности, на три четверти повинуются какому-нибудь человеку потому, что видят, как другие повинуются ему. Первые, которые начали повиноваться этому человеку, имели или полагали, что имеют на это свои причины: они поверили в его покровительственную и руководящую силу вследствие его преклонного возраста, или же его знатного происхождения, или его телесной силы, или его красноречия, или его гения. Но эта вера, зародившаяся у них самопроизвольно, была передана ими посредством разговоров другим, которые после них в свою очередь также стали верить. Именно разговаривая о деяниях человека, делают его известным, знаменитым, славным; и раз он благодаря славе достиг власти, то именно благодаря разговорам относительно его планов кампании или его декретов, его могущество или увеличивается, или уменьшается.

Особенно в экономической жизни, разговор имеет большое значение, которого экономисты, по-видимому, не заметили. Разговор, обмен идей, — или, скорее, взаимный или односторонний дар идей — не является ли он вступлением к обмену услуг? Именно при помощи слова, сначала во время разговора, люди одного общества сообщают друг другу свои нужды, свои желания потребления или же производства. Чрезвычайно редко случается, чтобы желание купить новый предмет зарождалось при виде его, без того чтобы разговор заранее возбудил это желание. Такой случай происходит, например, тогда, когда мореплаватель пристаёт к незнакомому острову; его окружают дикари, которые, не говоря с ним, так как ни они не знают его языка, ни он их, ослепляются стекляшками, привезенными им, и приобретают их, отдавая пищу и меха. За исключением таких случаев, разговор имеет большое влияние на зарождение, а еще более на распространение потребностей, и без него никогда не могло бы быть точной и одинаковой цены, первого условия всякой немного развитой торговли, всякой немного успешной промышленности.

Отношение разговора к психологии социальной и моральной очевидно в XVII веке во Франции, но оно явно сказывается не только там. Гораций в одной из своих сатир хвалит ту жизнь, которую он ведет в своем деревенском доме. Там он часто принимает к столу своих друзей. «Каждый гость, свободный от законов этикета, осушает по своему выбору малые или большие чаши. Тут завязывается разговор, но не о соседях с целью позлословить, не об их имениях с целью позавидовать, не о таланте Лепоса в танцевальном искусстве; мы разговариваем о предметах, которые больше интересуют нас, и которые стыдно игнорировать: что делает человека счастливым, добродетель или богатства? Нужно ли в своих связях сообразоваться с тем, что полезно, или с тем, что честно? Какова природа добра? В чем состоит высшее благо? Между тем иногда, кстати, Сервий примешивает к этим серьезным разговорам и «старушечьи сказки». Из этого мы видим, что модные разговоры среди выдающихся людей времен Августа походили одной важной чертой на разговоры «порядочных людей» нашего века: они также вращались около моральных обобщений, когда они не касались литературных суждений. Только мораль, обсуждаемая современниками Горация, эпикурейцами с окраской стоицизма, это — мораль более индивидуальная, нежели общественная, так как последователи Зенона точно также, как и последователи Эпикура, ставили своей задачей укреплять, оздоравливать индивидуум, взятый в отдельности,

оторванный от своей группы. Наоборот, вопросы, поднимаемые светскими христианами и моралистами времен Людовика XIV, имеют прежде всего отношение к общественной морали.

Мадам де Лафайет пишет мадам де Севинье, что однажды после обеда весь разговор с мадам Скаррон, аббатом Тестю и другими собеседниками вращался вокруг «личностей, вкус которых стоит выше или ниже их ума». «Мы пускались, — говорит она, — в такие тонкости, что не могли больше ничего понять». В наши дни спросят, какой интерес может заключаться в трактовании таких темных сюжетов? Но не нужно забывать, что в эту эпоху в аристократических сферах общественность достигала своей высшей точки развития, и не было ничего более кстати, как осветить, точно определить, разобраться насколько возможно в *социальной психологии*, еще не получившей имени. XVII век, в разговорах между порядочными людьми, по-видимому, никогда очень не занимался индивидуальной психологией. Какой-нибудь роман Бурже заставил бы зевать мадам де Лафайет и Ларошфуко. То, что их интересовало и должно было наиболее интересовать, это изучение отношений *интерспиритуальных*, и они бессознательно создавали *интерпсихологию*. Прочтите Лабрюйера, прочтите начерченные Бюсси-Рабютэном портреты его современников или прочтите какого-либо другого писателя: они никогда не характеризуют человека с точки зрения его отношений к природе или к себе самому, но исключительно с точки зрения его социальных отношений к другим людям, согласия или несогласия его суждений относительно прекрасного с их суждениями (*вкус*), его способности нравиться им при рассказывании пикантного анекдота или при написании остроумного письма (*ум*) и т. д.

Естественно, что люди, начиная заниматься психологией, создавали общественную психологию, и точно так же понятно, что они делали это бессознательно, потому что они не могли иметь о ней точного представления, как только противопоставляя ее психологии индивидуальной.

Эта последняя развила в XVII веке только одну свою сторону — впрочем, важную и оригинальную, — а именно мистицизм. Следует при этом заметить, что сладостные или томительные состояния души, изображенные такими живыми штрихами в полных одухотворения письмах Фенелона и многих других мистиков того времени, ощущаются ими как глухой и внутренний разговор с божественным собеседником, с невыразимым утешителем, скрытым в душе. Говоря правду, мистическая жизнь при

старом режиме отчасти создана по образцу «света». Бог делает там *визиты* душе. Он говорит ей, она Ему отвечает. *Милость*, не есть ли это радость и сила, которую дает вам любимый голос, говорящий внутри вас и подкрепляющий вас? Периоды злости и томления, на которые жалуются «спиритуалы», — это интервалы, иногда очень долгие, между визитами и разговорами неизреченного гостя.

Другая ветвь, совершенно отдельная от социальной психологии и тесно связанная с индивидуальной, — это психология половая, которой специально посвятили себя драматурги и романисты, и которая играет в разговорах тем более захватывающую роль, чем они цивилизованный. Она имеет также некоторую связь с мистической психологией.

Разговор есть родоначальник вежливости. Это справедливо даже тогда, когда вежливость заключается в том, чтобы не разговаривать. Провинциалу, только что проехавшему в Париж, ничего не кажется более странным, более противоречащим его натуре, как вид омнибусов, наполненных людьми, которые тщательно воздерживаются от разговоров друг с другом. Молчание между незнакомыми, которые встречаются, естественно, кажется неприличием, как молчание между знакомыми есть признак раздора между ними. Каждый хорошо воспитанный крестьянин считает своим долгом «составить компанию» тем, с кем он совершает путь. В действительности же это происходит не потому, что потребность разговора в маленьких городах или в деревнях сильнее, нежели в больших. Наоборот, эта потребность, по-видимому, возрастает в прямой зависимости от большей густоты населения и высшей степени цивилизации. Но именно вследствие силы этой потребности, в больших городах пришлось устроить плотины против опасности быть потопленными под волнами нескромных слов.

Нужно достигнуть высокой степени сердечной близости для того, чтобы позволить себе долго молчать, когда двое друзей находятся вместе. Между друзьями, которые не очень близки, между людьми безразличными, встречающимися в салоне, слово служит единственной социальной связью, и как только эта единственная связь порвалась, тотчас же является большая опасность, опасность увидеть проявление лжи вежливости, полное отсутствие глубокой привязанности наперекор внешним проявлениям дружбы. Это ледяное молчание действует подавляющим образом, оно производит впечатление, будто разорвали целомудренные покровы, и люди делают все, чтобы избежать его. В угасающее пламя разговора бросают все, что только придет на ум; свои самые

дорогие тайны, не высказывать которые было прямым интересом, точно так же, как в момент кораблекрушения бросают в море свои самые драгоценные товары для того, чтобы задержать потопление. Молчание среди салонного разговора — это потопление корабля среди океана.

Из разговора родились комплименты, точно так же, как и злословие. Разговаривая друг с другом, люди заметили, что их хорошее мнение о них самих не разделяется другими, и обратно.

Тщеславную иллюзию другого, когда дело шло о равном, можно было высмеять, резко напасть на нее, порицая противника; да и то опыт научил избегать конфликтов, вызванных такими порывами откровенности. Но когда дело шло о высшем, о хозяине, то осторожность подсказывала поддерживать эту химеру. Отсюда получились комплименты, которые, мало-помалу ослабляясь, и вместе делаясь взаимными, и под этой обоюдной формой становясь общим достоянием, сделались основанием городской жизни. Вначале они всегда бывают корыстными и только постепенно делаются бескорыстными. Я спрашиваю себя, не объясняется ли то, что индусы сказали относительно всемогущества молитвы, опьяняющей властью похвалы над наивными душами. Молитва, прежде всего, есть гиперболическая похвала. — Характер комплиментов изменяется. В Китае, чтобы сказать приятное кому-нибудь, ему говорят, что он выглядит старым; у нас говорят, что он помолодел. В средние века сказать молодому монаху, *позировавшему* при священном умерщвлении плоти, что он был худ и истощен, это значило сказать ему самую деликатную похвалу. Можно ли уловить смысл как в эволюции комплиментов, так и в эволюции оскорблений? Сравнивая ругательства героев Гомера с ругательствами диффаматорских газет, мы сказали бы, что словарь бранных слов скорее обогатился, нежели видоизменился. Ко всем физическим недостаткам, болезням, уродствам, которые приписывались некогда врагам, прибавились просто пороки цивилизации, утонченная испорченность, интеллектуальные аномалии, которые также щедро навязываются им. Но эти публичные оскорбления прессы, как и эти похвалы, представляют собою нечто отдельное, весьма отличное от оскорблений и похвал, употребляющихся в частных случаях, и они должны были сохранить отчасти свой первобытный гиперболизм. Все, что обращается к публике, этому грубому персонажу, требует также кричащих и грубых красок: объявлений, расклеенных на стенах, выборных программ, газетных полемик. Не менее справедливо и то, что по сравнению с полемиками между учеными

XVI века, полемики наших самых ярких газет, хранилищ всяческой брани, кажутся весьма подслащенными. Что же касается частных оскорблений, то они приняли смягченный характер еще значительно скорее, они перешли от гомерической грубости к самой скромной иронии, и вместо того, чтобы особенно упираться на физические недостатки, они все более и более упирают на интеллектуальные недостатки или на моральную грубость. Этот двойной прогресс, конечно, бесповоротен.

Эти же самые две характерные черты замечаются в эволюции похвалы, и одинаково имеют вид бесповоротности. Без сомнения, ни один монарх, ни один великий человек в наши дни не вынес бы чрезмерных похвал, подобных тем, какие обращались жрецами к фараонам по их приказанию, или какие Пиндар целыми потоками проливал на увенченные головы атлетов. Тон посвящений, на книгах, написанных всего два века назад, возбуждает у нас улыбку. Если мы сравним частные разговоры и споры с разговорами и спорами прошлого, XVIII-го, XVII-го, XVI-го веков, от которых нам остались образцы, мы без труда можем констатировать, что доля как прямого комплимента, так и откровенной брани в них постепенно уменьшалась; эти тяжелые монеты разделились и подразделились на меньшие, очень тонкие монеты. С другой стороны, сущность этих прикрытых комплиментов изменилась не менее, чем сущность этих замаскированных любезностей. Люди начали с того, что прежде всего хвалили физическую силу божества (см. книгу Иова), потом его мудрость, наконец его доброту. Возврата назад не может случиться. Точно так же, вначале хвалили прежде всего могущество королей, затем их ловкость, их организационный гений, наконец их заботы о народе. К кому обращался весь лиризм поэтов восхвалителей в самые древние времена в Греции? Больше к атлетам, нежели к артистам. В наши дни бывает наоборот, и, несмотря на пристрастие к триумфаторам велодромов или foot-ball'a, нечего бояться, что положение вещей вернется к прежнему порядку. Между тем нужно отметить, что похвалы, обращенные к женщинам, претерпевали эволюцию обратную предыдущим. Сперва хвалили добродетель женщин, их дух порядка и экономии, их таланты как ткачих, затем как музыкантш; все это прежде, чем хвалить, по крайней мере публично, их физическую красоту; теперь же, когда их хвалят, то скорее за красоту, чем за добродетель, или, далее, за ум; но похвала их красоте имела свою особенную маленькую эволюцию, которая сводится к общей тенденции: раньше хвалили их формы больше, чем их грацию, теперь хвалят грацию больше форм.

Посмотрите на двух людей, мужчин или женщин, которые наносят друг другу визиты вежливости и разговаривают между собой. Они тщательно избегают таких сюжетов, относительно которых они рискуют иметь различные мнения; или если они не могут избежать необходимости коснуться их, они как можно тщательнее скрывают свое противоречие; чаще всего они доходят даже до того, что жертвуют частью своих идей, для того чтобы иметь вид согласия. Вежливый разговор, таким образом, может считаться за постоянное и универсальное упражнение в общественной, за единодушное и заразительное усилие согласовать умы и сердца, изгладить или прикрыть их дисгармонию. Собеседники одушевлены очевидным желанием во всем гармонизировать друг с другом; и действительно, они бессознательно *внушают* друг другу, с большой силой, согласованные чувства и идеи. Взаимный характер этого внушения между тем никогда не бывает вполне выдержан; обыкновенно действие, оказываемое одним из собеседников на другого или на других, бывает преобладающим и сводит до незначительных размеров действие этих последних. Как бы то ни было, достоверно то, что обычаи вежливости, поддерживаемые разговорами во время визитов, возделывают довольно глубоко ту почву, где должно расцвести общественное единодушие, и служат для него неизбежным подготовлением.

Разговор был колыбелью литературной критики<sup>1</sup>. В XVII веке, как мы можем усмотреть из корреспонденции Бюсси-Рабютена со своей любезной кузиной, длинного разговора в письмах, разговоры порядочного общества имели большей частью отношение к сравнительному достоинству книг и авторов. Там обменивались суждениями и спорили о последних трагедиях Расина, о сказке Лафонтена, о послании Буало, о янсенистском произведении; и если приглядеться поближе ко всем этим разговорам, то можно увидеть, что они всегда стремились после спора согласоваться на одной и той же точке зрения. Так было во всякое время независимо от того, каков был господствующий сюжет разговоров. Именно везде, где в известной среде люди много говорили о литературе, они бессознательно содействовали коллективной выработке поэтической науки, литературного кодекса, принятого

---

<sup>1</sup> Последствие замечательное, если подумать о том важном значении, какое приобрела в нашу современную эпоху литературная критика, высказывая суждение обо всем, даже в области философской критики, политики, социальных идей.

всеми, и способного доставлять готовые суждения, всегда согласные между собой, относительно всех родов умственного творчества. Также, когда мы видим где-нибудь автора, формулирующего такого рода эстетический закон, будь то Аристотель, или Гораций, или Буало, мы можем быть уверены, что ему предшествовал длинный период разговора, сильная общественная жизнь. Итак, мы можем быть уверены, что говорилось много о литературе до Аристотеля и в его время, со времен софистов как в Афинах, так и в остальной Греции; что в Риме много говорили о том же со времен Сципионов, и в Париже со времени précieuses и до них. Эпоха реставрации также кончила тем, что выработала свою романтическую поэтику, не менее деспотическую, для того чтобы быть анонимной. В наши дни таковой еще не утвердилось, но элементы для нее уже приготавливаются, и нужно заметить, что — так как область разговора, даже литературного, а не только политического и общественного, сильно расширилась благодаря увеличению числа собеседников — выработка кодекса будет более продолжительна, нежели в прежние эпохи, на том основании, что чем больше чан, тем больше брожение. Посредством спора, как и посредством обмена идей, посредством конкуренции и войны, как и посредством работы, мы содействуем все и всегда созданию высшей гармонии мыслей, слов и действий, устойчивого равновесия суждений, сформулированных в догмы литературные, артистические, научные, философские, религиозные или созданию устойчивого равновесия действий под формой законов и нравственных принципов. Действительно, социальная логика действует во всех речах и во всех поступках людей и неизбежно приводит к своим конечным выводам.

## VII

Далеко позади и значительно ниже разговора стоит письменная корреспонденция как фактор мнения. Но этот второй сюжет, связанный самыми тесными узами с первым, не задержит нас долго. Обмен письмами — это болтовня на расстоянии, болтовня, продолжающаяся несмотря на отсутствие. Следовательно, те причины, которые благоприятствуют разговору: прибавление досуга, объединение языка, распространение общих знаний, равенство рангов и т. д., — содействуют также большей активности корреспонденции, но под условием, чтобы они встретились со специальными причинами, от которых зависит эта последняя. Эти причины: легкость путешествий, благодаря которым случаи



отсутствия делаются чаще, общераспространенность искусства писать и правильное функционирование почтового движения.

На первый взгляд могло бы показаться, что путешествия, умножая письма, должны уменьшать количество разговоров. Но известная истина, что в тех странах, где много путешествуют, больше всего говорят и пишут друг другу. Таким же образом развитие железных дорог, вместо того чтобы пресечь развитие каретной торговли, поддержало ее. Если кочевые привычки наших современников слишком часто врываются между старыми друзьями, между согражданами одного и того же города, — «эти тихие беседы в сумерки» *lenes sub noctem susurri*, которые, как говорит Гораций, «повторялись в обычный час», — то они позволяют все возрастающему числу чужестранцев видаться и разговаривать друг с другом, и эти свидания если и не отличаются таким прелестным характером, зато более поучительны. Любознательность выиграла больше, чем потеряла интимность, и как бы чувствительна ни была для меня эта потеря, я покоряюсь при мысли, что она может быть только временной. Нельзя ли возвести в принцип — весьма могущий осветить интересующий нас сюжет, — что письменные корреспонденции, разговоры и путешествия находятся между собой в тесной связи до такой степени, что если мы у известного народа в известный момент откроем развитие одного из этих трех, например, путешествий, мы будем вправе сделать заключение о развитии и двух других, и обратно? Те времена, когда письменная корреспонденция наиболее процветала (я разумею времена до появления журнализма, столь недавнего, который немного изменил в этом отношении положение вещей, как мы это увидим), были временами, когда больше всего путешествовали и болтали. Такова была эпоха Плиния Младшего. Таков был также наш XVI век. «XVI век, — говорит один историк, — это прежде всего век письменной корреспонденции. Количество политических писем, от королей, министров, капитанов и посланников, сохраненных среди манускриптов национальной библиотеки, неисчислимо. Там фигурируют также корреспонденции религиозные и интимные<sup>1</sup>».

<sup>1</sup> Тогда появляется вся иерархия формул вежливости и письменный церемониал. Высшему говорят *Monseigneur*, равному *Monsieur*. Начинают: «Поручаю себя вашей милости», обращаясь к знатной особе. Кончают: «Моля Бога послать вам долгую жизнь в полном здоровье». Ступени отмечены словами, предшествующими подписи: «Ваш слуга, Ваш покорный слуга, Ваш смиренный слуга». (Decrue de Stoutz). Прибавим, что письма в XVI веке, так же как и разговоры, верным отра-

В Испании, если сравнить эту страну с другими нациями Западной Европы, пишут мало. Огонь разговора всегда и везде вспыхивал в слоях наций, наиболее любящих путешествовать, и там ощущалась потребность писать друг другу, например, в Греции, среди риториков и софистов, странствующих продавцов мудрости, притом в недрах народа приморского и подвижного; в Риме, среди аристократии, так охотно кочующей и странствующей; в средние века, в сферах университета и церкви, где монахи, проповедники, епископы, легаты, аббаты и даже аббатисы (эти последние в особенности) так легко перемещались и путешествовали так далеко по сравнению с остальным населением. Первые почты начали с того, что были привилегией университетской и епископальной или, скорее, подымаясь еще выше, королевской.

Относительно этого важного учреждения я скажу только несколько слов, чтобы показать, что его развитие шло согласно с законом распространения примеров *сверху вниз*. Сначала короли и папы, затем князья и прелаты имели своих частных курьеров, раньше, чем простые властители; затем их вассалы, затем постепенно все слои нации до самого последнего также поддались искушению писать друг другу. Когда своим эдиктом 19 июня 1494 года Людовик XI организовал почту, курьеры носили только письма монарха, но «из специально королевского, — говорит du Camp, — это учреждение не замедлило стать административным с точной оговоркой, чтобы письма прочитывались, и не содержали в себе ничего, что могло бы нанести ущерб королевскому авторитету». Людовик XI прекрасно сознавал то могущественное действие, которое могла оказывать корреспонденция частных лиц на рождающееся мнение. В первый раз при Ришелье письма были подчинены правильному тарифу (1627), что ясно показывает их непрерывное численное возрастание<sup>1</sup>. «Можно легко отдать себе отчет в необычайном росте службы на фермах во

---

жением которых они являются, лишены осторожности и вкуса, нескромны, непристойны и неделикатны до последней степени. Следующий век распространит чувство нюансов.

<sup>1</sup> Между тем *частные письма* — так как выше, по поводу XVI в., речь шла о корреспонденции политического характера — были по видимому весьма малочисленны до половины XVII в., если судить по выдержке из мемуаров мадемуазель де Монпансье, цитированной Редерером. Она говорит о принцессе де Партени (*мадам де Сабле*): «В ее время писание вошло в употребление». Обыкновенно писались только свадебные контракты; *что касается писем, то о них никто даже не упоминал.*

Франции в продолжение XVIII в., сравнивая цену последовательных наймов». Она возросла с двух с половиной миллионов в 1700 году до десяти миллионов в 1777 году, она увеличилась таким образом вчетверо. В наши дни почтовая статистика позволяет вычислить быстрое и непрерывное возрастание количества писем в различных государствах<sup>1</sup> и измерить таким образом неравное, но повсюду регулярное увеличение общей потребности, которую они удовлетворяют. Таким образом, она может указать нам на неравномерные ступени и успехи общественности.

Но эта же самая статистика является хорошим образцом, подтверждающим, что всегда существуют скрытые *качественные* элементы под социальными количествами, для которых статистика вообще служит приблизительным мериллом<sup>2</sup>. Действительно, нет ничего более схожего по внешнему виду, как письмо в одну и ту же эпоху, в одной и той же стране, и кажется, что условие однородности единиц для вычислений статистика выполнено как нельзя лучше. Письма имеют приблизительно одинаковый формат, одинакового типа конверт, один и тот же способ запечатывания, одинакового рода надписи. В настоящее время они покрыты одинаковыми почтовыми марками. Уголовная и гражданская статистика, конечно, далека от того, чтобы считать единицы до такой степени сходные. Но распечатайте письма: сколько характеристических различий, глубоких и существенных, несмотря на постоянство торжественных формул начала и конца! Сложить вместе эти столь разнородные вещи, этого слишком мало. Мы знаем их количество, но мы не знаем даже их длину. Между тем любопытно было бы узнать, не становились ли они, по мере того как делались все многочисленнее, более короткими, что весьма вероятно, и более сухими? И если бы существовала статистика разговоров<sup>3</sup>, ко-

<sup>1</sup> Во Франции, например, от 1830 до 1892 г. число писем увеличивалось из года в год *равномерно* (исключая 1848 и 1870), от 63 миллионов писем до 773 миллионов. От 1858 до 1892 количество телеграфных депеш возвысилось от 32 до 463 миллионов, круглым числом.

<sup>2</sup> Если бы это было уместно, я показал бы, что существует не меньше скрытой *качественности* в физических количествах, измеряемых научными прогрессами, аналогичными по существу со статистикой и не менее правдоподобными, чем она, хотя на вид более основательными.

<sup>3</sup> Она была бы возможна, если бы каждый из нас вел правильный дневник, подобный дневнику Гонкуров. До сих пор записывается только количество заседаний конгресса или ученых обществ, и статистика в этом отношении отмечает постоянное возрастание.

торая была бы также вполне законной, то точно так же интересно было бы знать их длительность, которая в наш деловой век, наверное, была бы обратно пропорциональна их количеству. В тех городах, где больше всего бывает дождя, где падает с неба наибольшее количество воды, — простите мне это сравнение — там в большинстве случаев дожди идут очень редко. Особенно интересно было бы знать внутренние видоизменения сущности писем точно так же, как и разговоров, но статистика здесь не может нам помочь.

В этом отношении нет сомнения, что появление журнализма дало письменным видоизменениям решительный толчок. Пресса, поддерживавшая и питавшая разговор столькими новыми возбуждающими и питательными средствами, наоборот, иссушила много источников корреспонденции. Очевидно, что если бы в марте 1658 г. во Франции были ежедневные газеты столь же осведомленные, столь же аккуратно посылаемые в провинции, как и в наши дни, то Оливье Патрю, такой занятой человек, не стал бы трудиться писать своему другу Дабленкуру длинное письмо, где он дает столько подробностей (какие можно найти теперь в первом попавшемся газетном листке) относительно посещения Христиной Шведской французской академии. Большая, но незаметная услуга, которую газеты оказывают нам, заключается в том, что они избавляют нас от обязанности писать нашим друзьям целую массу интересных новостей<sup>1</sup> относительно событий дня, которые наполняли письма прошлых веков.

Можно ли сказать, что пресса, освободив и избавив частные корреспонденции от этого балласта хроник, сделала услугу письменной литературе, наведя ее на настоящий путь, тесный, но глубокий, чисто психологический и сердечный? Я боюсь, что думать таким образом было бы чистой иллюзией. Все усиливающийся городской характер нашей цивилизации имеет своим последствием то, что число наших друзей и знакомых не перестает возрастать, в то время как степень их близости уменьшилась, и

---

<sup>1</sup> Журналисты очень рано сознали этот род пользы. Ренадо в начале обзора своей *Газеты* в 1631 году говорит об «облегчении, приносимом ими (газетами) тем, кто пишет своим друзьям, которым раньше они были принуждены, для удовлетворения их любознательности, терпеливо описывать новости, чаще всего выдуманные ради удовольствия и основанные на недостоверности простого слуха». Это облечение носило в эту эпоху еще вполне частный характер, как мы видим по письму Патрю, о котором мы только что упоминали.

то, что мы имеем сказать или написать, относится все меньше и меньше к отдельным личностям и все более и более к целым группам, и к группам все более многочисленным. Наш настоящий собеседник, наш настоящий корреспондент — это — и с каждым днем все более — публика<sup>1</sup>. Поэтому не удивительно, что печатные письма, имеющие характер сообщений<sup>2</sup>, объявлений и рекламы, путем газет прогрессируют гораздо быстрее, чем наши частные письма. Может быть, мы имеем право считать вероятным, что среди этих последних фамильярные письма, письма-разговоры, которые, естественно, нужно ставить отдельно от писем деловых, все уменьшаются по количеству и еще более по длине, если судить по необыкновенной степени упрощения и сокращения, до которой дошли даже любовные письма «в личной корреспонденции» известных газет<sup>3</sup>. Утилитарный лаконизм телеграмм и телефонных разговоров, которые постепенно овладевают областью корреспонденции, *отлинял* на стиле самых интимных писем. И если, поглощаемая прессой с одной стороны, телеграфом и телефоном с другой, подтачиваемая сразу с этих двух концов, корреспонденция живет, и даже, судя по почтовой статистике, как будто и процветает, то это можно объяснить только умножением деловых писем.

Письмо фамильярное, личное, подробное было убито газетой, и это понятно, потому что она является его высшим эквивалентом или, скорее, продолжением и дополнением, универсальным

---

<sup>1</sup> Потребность обращаться к публике довольно недавнего происхождения. Даже короли прежнего режима не обращались никогда к публике: они обращались к сословиям, к парламенту, к духовенству, но никогда ко всей нации, взятой вместе; тем более частные лица.

<sup>2</sup> Письма с сообщениями о рождении, о браке, о смерти избавили частную корреспонденцию от одного из ее наиболее обильных прежних сюжетов. Например, мы видим в одном томе корреспонденции Вольтера целый ряд писем, в которых содержатся сообщения друзьям г-жи дю Шатле, в остроумных и подробных вариантах, о рождении ребенка, только что произведенного ею на свет.

<sup>3</sup> Но что бесспорно все сокращается и упрощается в письмах всякого рода, это их церемониал. Сравните современное «преданный вам» с формулами для окончания письма в XVI и в XVII в. Преобразование заключительных формул при разговоре в том же смысле не подлежит сомнению, но так как они не оставили по себе прочного следа, то изучать прогресс или регресс в этом деле удобнее по корреспонденции прошлого и настоящего.

отражением. Действительно, газета и книга не одинакового происхождения. Книга происходит от речи, от монолога, и прежде всего от поэмы, от пения. Книга поэзии предшествовала книге прозы; священная книга — книге светской. Но происхождение газеты — светское и фамильярное. Она происходит от частного письма, которое в свою очередь происходит от разговора. И газеты начали с того, что были частными письмами, обращенными к отдельным личностям, и переписанными в известном числе экземпляров. «Задолго до печатного, публичного журнализма<sup>1</sup>, более или менее терпимого, или даже более или менее принимаемого в расчет правительствами, существовал писанный журнализм, часто тайный», который упорно держался или пережил самого себя до XVIII в. в письмах Гримма или в мемуарах Башомона.

Послания апостола Павла, письма миссионеров — все это настоящие журналы. Если бы апостол Павел имел в своем распоряжении какую-нибудь *Религиозную неделю*, то именно такие статьи он писал бы туда.

Словом, газета — это публичное письмо, публичный разговор, который, исходя от частного письма, от частного разговора, становится для них важным регулятором и наиболее обильной пищей, одинаковой для всех в целом мире, глубоко изменяющейся для всех с каждым днем. Газета начала с того, что была только продолжающимся отголоском разговоров и корреспонденции, а кончила тем, что стала для них почти единственным источником. Что до корреспонденции, то она еще живет ими, она живет ими, более чем когда-либо, особенно в той наиболее сжатой и наиболее современной форме, которую они принимают, в форме телеграфической депеши. Из частной телеграммы, адресованной к ее главарю, она делает сенсационную злободневную новость, которая моментально во всех больших городах материка породит толпы; а все эти рассеянные толпы, тесно соприкасающиеся друг с другом на расстоянии благодаря сознанию их одновременности, их взаимного действия, рожденного ее действием, она свяжет в одну огромную толпу, отвлеченную и всемогущую, которую она назовет общественным мнением. Таким образом, она окончила долгую вековую работу, начатую разговором, продолженную корреспонденцией, но остававшуюся всегда в состоянии рассеянного и несвязного наброска, работу слияния личных мнений в мнения местные, этих последних — в мнение

---

<sup>1</sup> Eugène Dubiet, *Le Journalisme*. Hachette, 1892.

национальное и мнение *всемирное*, грандиозное объединением общественного ума. — Я говорю общественного ума, я не говорю национальных умов, *традиционных*, которые остаются в основе различными под двойным вторжением *рационального*, более серьезного интернационализма, по отношению к которому национальный ум является часто отзвуком и народным резонатором. — Власть огромная, несмотря ни на что, которая не может иначе идти, как все увеличиваясь, так как потребность согласоваться с публикой, часть которой составляет, думать и действовать в смысле мнения, становится тем сильнее и непреодолимее, чем публика многочисленней, чем сильнее мнение, и чем чаще удовлетворялась эта самая потребность. Итак, не нужно удивляться, видя, как наши современники сгибаются под напором налетающего вихря общественного мнения, и необходимо не делать отсюда заключения, что характеры ослабили. Если гроза повергает на землю дубы и тополя, то это не значит, что они стали слабее, это значит, что ветер сделался сильнее.

# ТОЛПЫ И ПРЕСТУПНЫЕ СЕКТЫ<sup>1</sup>

В течение всего последнего столетия, когда во всем — в политике и политической экономии, в морали, в праве и даже в религии, длился этот кризис индивидуализма, вплоть до наших дней преступление считалось актом, по существу своему, самым индивидуалистическим в мире; и среди криминалистов понятие о коллективном преступлении было, так сказать, потеряно, как утратилась даже среди теологов идея о коллективном грехе, за исключением разве идеи о грехе наследственном. Когда покушения заговорщиков, преступления разбойничьих шаек заставили признать факт существования преступлений, совершаемых коллективно, тогда поспешили разложить эти туманные уголовные деяния на отдельные индивидуальные преступления, считая первые только суммой вторых. Но в настоящее время социологическая или социалистическая реакция против этой великой эгоцентрической иллюзии должна естественно направить внимание на социальную сторону актов, которые индивидуум несправедливо приписывает себе. Исследователи с большим интересом занялись преступностью сект — по этому вопросу ничто по глубине и силе не может сравниться с работами Тэна по психологии якобинцев — а в самое — последнее время преступностью толп. Эти два чрезвычайно различных вида именно *группового* преступления имеют общее родство, и совместное изучение их не будет бесполезным или несвоевременным.

---

<sup>1</sup> Я думаю, что здесь необходимо перепечатать в качестве полезного дополнения к предыдущим этюдам этот этюд, напечатанный раньше (в декабря 1893 г.) в *Revue des Deux-Mondes*, а затем в моих *Essais et Mélanges* (Storck et Masson, 1895). Еще задолго до появления этого этюда я занимался психологией толпы. Читателя интересующегося этим предметом, я позволяю себе отослать к моей *Philosophie pénale* (Storck et Masson, 1890), к главе *Le crime*, стр. 323 и сл., а также к моему докладу о *преступлениях толпы*, который был прочитан и обсуждался на брюссельском Конгрессе криминальной антропологии в августе 1892. Все это было потом перепечатано в моих «*Essais et Mélanges*».



## I

Трудность вопроса заключается не в том, чтоб отыскать коллективные преступления, а в том чтоб открыть преступления, которые не являются таковыми, в которых среда не участвует ни в какой степени. Этот последний вопрос до того важен, что можно даже спросить себя: существуют ли вообще чисто индивидуальные преступления, подобно тому, как ставился вопрос о том, существуют ли произведения гения, которые не являются произведениями коллективными? Проанализируйте состояние преступника самого жестокого и самого одинокого в момент преступления или разберите душевное состояние изобретателя, самого нелюдимого в тот момент, когда он совершает свое открытие. Отбросьте при образовании этого лихорадочного состояния все то, что следует отнести на долю влияния воспитания, товарищей, образования, биографических фактов — что останется? Очень немного, и тем не менее нечто и нечто существенное, нечто такое, чему вовсе не нужно изолироваться, чтобы быть собою. Напротив того, это неведомое нечто, которое является вполне индивидуальным *я*, должно смешиваться с внешним миром для того чтобы сознать себя и укрепиться; оно питается тем, что изменяет его. Только благодаря разнообразным актам, вытекающим из соприкосновения с посторонними лицами, оно развивается, приспособляя их к себе, причем степень этого приспособления весьма различна в зависимости от того, насколько индивидуальному *я* дана способность скорее приспособлять посторонних лиц к себе, чем самому ассимилироваться с кем-нибудь из них. Впрочем, даже при подчинении оно остается всего чаще собою, и его подчинение имеет свой собственный характер. Почему Руссо отвернулся от действительности, когда для осуществления высшей возможной степени индивидуальной автономии он находил необходимым режим продолжительного уединения с раннего детства, уединения, впрочем, неполного, уединения двоих, учителя и ученика, которое гипнотизировало второго из них. Его *Эмиль* — это само олицетворение и, в то же время, путем абсурда, отвержение индивидуализма, присущего его эпохе. Если уединение — плодотворное и даже единственно плодотворное средство, то это потому, что оно чередуется с интенсивной жизнью различных отношений, опытов и чтений, давая возможность размыслить над ней.

Несмотря на все это, преступления можно назвать индивидуальными, как и все вообще действия, совершенные одной личностью

в силу неясных, отдаленных, смутных влияний других людей, неведомых и неопределенных; с другой стороны, можно сохранить слово «коллективный» для действий, совершенных непосредственным совместным трудом известного определенного количества соисполнителей. Конечно, в этом смысле существуют и индивидуальные творения гения или, вернее, в творениях гения все индивидуально. В самом деле, замечательно, что, в то время как в нравственном отношении группы способны к двум противоположным крайностям, — к крайней преступности и, порою, к высшему героизму — в смысле интеллектуальном мы не наблюдаем того же явления. Масса может опуститься до такой степени безумия или отупения, какие неведомы индивидууму, взятому в отдельности; и в то же время, масса лишена возможности подняться до высшего развития творческого ума и воображения. В нравственном отношении массы могут падать очень низко и подниматься очень высоко. В интеллектуальном отношении они способны доходить только до крайней степени падения. Если нам известны случаи коллективных злодеяний, на которые был бы неспособен индивидуум, случаи резни и грабежей, совершаемых вооруженными шайками, пожары во время революций, сентябрьские дни, Варфоломеевская ночь, случаи массовых подкупов и т. д., то, с другой стороны, мы знаем и о проявлениях коллективного героизма, в которых индивидуум возвышается над самим собою, о битвах легендарных рыцарей, о восстаниях, вызванных патриотическим чувством, о массовых мученичествах, о ночи 4-го августа и т. д. Но в противовес коллективному проявлению безумия и тупости, примеры которого мы приведем, можно ли указать коллективные акты гения?

Нет. Ответить утвердительно можно только, приняв без доказательств банальную неосновательную гипотезу, по которой языки и религии, творения, без сомнения, гениальные, были самородным и бессознательным созданием масс, и, что особенно замечательно, не организованных масс, а нестройных скопищ. Здесь не место обсуждать это слишком легкое решение капитального вопроса. Оставим в стороне то, что происходило в исторические времена. Но можно ли в исторические времена указать изобретение, открытие, верную инициативу, которыми бы мы были обязаны этому безличному существу, — толпе? Нет. То, что в революциях было чисто разрушительного, толпа может приписать себе, по крайней мере отчасти, но что основали они, что в действительности открыли такого, что до или после них не было постигнуто и предусмотрено людьми высшими, как Лютер,

Руссо, Вольтер, Наполеон? Пусть мне укажут армию, даже наилучшего состава, которая сама собою создала бы план кампании, замечательной или хотя бы посредственной; пусть мне укажут военный совет, который при задумывании, я не говорю уже при обсуждении какого-нибудь маневра, мог бы сравниться с умом, самым посредственным, главнокомандующего. Встречал ли кто-нибудь художественный шедевр в живописи, скульптуре или архитектуре, наконец даже эпопею, которые были бы задуманы и исполнены коллективным вдохновением десяти, ста поэтов или художников? Так фантазировали насчет *Илиады* в известную эпоху дурной метафизики; теперь смеются над этим. Все гениальное индивидуально, даже в деле преступлений. Нет преступной толпы, нет такой ассоциации преступников, которые изобрели бы новый способ убийства или грабежа; гениальным убийцам и ворами обязаны мы тем, что искусство убивать и грабить ближнего поднялось, достигло нынешнего совершенства.

От чего зависит указанное несходство? Почему социальным группам несвойственно высокое умственное развитие, тогда как им доступно высокое и сильное развитие воли и даже добродетели? Причина этого несходства заключается в том, что поступок добродетельный, даже самый героический, сам по себе есть нечто весьма простое и отличается от обыкновенного нравственного поступка только степенью; в самом деле, сила единства, которое получается в собраниях людей, где чувства и мнения усиливаются, благодаря многочисленным точкам соприкосновения, есть сила по преимуществу количественная. Но произведение гения или таланта имеет всегда сложный характер и отличается по самой природе, не только по степени, от обыкновенного умственного акта. Здесь дело заключается не в том, чтобы воспринять и запомнить что попало, приноровляясь к известному типу, а в том, чтобы создать новые комбинации из восприятий и образов, уже известных. На первый взгляд, может показаться, что десять, сто, тысяча умов, соединившихся вместе, более способны, чем один, охватить все стороны какого-нибудь сложного вопроса; и эта иллюзия столь же непреборима и обаятельна, сколько глубока. Во все времена народы, наивно проникнутые этим предрассудком, в тревожные минуты своей жизни ждали от религиозных и политических собраний исцеления от зол. В средние века это были соборы, в новое время — генеральные штаты, парламенты. Вот какой панацеи ищут больные массы. Из этой же ошибки вытекает вера в суд присяжных, постоянно обманывающая и постоянно вновь возрождающаяся. В действительнос-

ти это не просто собрания лиц; это скорее *корпорации*, вроде больших религиозных орденов, или гражданских или военных ополчений, которые иногда отвечали потребностям народов. Следует при этом заметить, что даже в форме корпораций, коллективные группы бессильны создать что-нибудь новое. Так бывает независимо от того, насколько дееспособен социальный механизм, в который вовлечены индивидуумы.

В самом деле, возможно ли, чтоб одновременно по сложности и эластичности своей структуры он равнялся мозговому организму, этой несравненной армии нервных клеток, которую каждый из нас носит в своей голове? Пока хорошо сотворенный ум стоит выше парламента, даже наилучшим образом устроенного, в отношении быстроты и верности функционирования, быстрого впитывания и выработки многообразных элементов, тесной солидарности бесчисленных действующих сил, до тех пор будет чистым ребячеством, хотя правдоподобно *a priori* и извинительно, рассчитывать, что мятежи и совещательные органы могут скорее вывести страну из затруднительного положения, чем один человек. В самом деле, всякий раз, когда страна переживает один из тех периодов, в которые она чувствует настоятельную потребность не только в великой отзывчивости сердца, но и в великих способностях ума, всякий раз является необходимостью в единоличном управлении, в форме ли республиканской, или монархической, или с парламентской окраской. Не раз раздавались протесты против этой необходимости, которая казалась *переживанием*, и причины которой тщетно доискивались. Может быть намек на ее скрытую причину заключается в выше приведенных соображениях.

Они могут также помочь точно определить, в чем состоит ответственность вождей в действиях, совершенных группами, которыми руководят эти вожди. Собрание, ассоциация, толпа или секта имеют лишь ту *идею*, которая им внушена; эта более или менее разумная идея, указание на то, какую преследовать цель, какие употреблять средства, может сколько угодно распространяться из ума одного человека по умам всех, и она все-таки останется одной и той же. Тот, кто внушал ее, отвечает за ее непосредственные следствия. Но возбуждение, которое соединяется с этой идеей и которое распространяется вместе с ней, не остается одинаковым при своем распространении; интенсивность этого возбуждения растет наподобие математической прогрессии, и то, что было умеренным желанием или нерешительным мнением у виновника этой пропаганды, у того, например, кто первый внушил

рискованное подозрение против известной категории граждан, то быстро превращается в страсть и убеждение, ненависть и фанатизм в массе, склонной к брожению, куда попало зерно. Сила возбуждения,двигающая толпой и доводящая ее до последней крайности в отношении как добра, так и зла, является в значительной доле ее собственным делом; она — результат взаимного разгорячения этих людей, которые собираются вместе, видя каждый в другом свое отражение. Возлагать на вождя толпы ответственность за все преступления, к которым влечет ее это крайнее возбуждение, было бы столь же несправедливо, как приписывать этому вождю всю заслугу великих дел патриотического самопожертвования, великих подвигов самоотвержения, порожденных тем же лихорадочным возбуждением. От вождей толпы или мятежа всегда можно требовать ответа за то коварство и искусство, которые проявила толпа при совершении своих убийств, грабежей и пожаров, но не всегда они ответственны за ярость и количество бед, причиненных преступной заразностью толпы. Генералу одному следует воздать почет за его план кампании, но не ему принадлежит почет за храбрость его солдат. Я не говорю, что этого различия достаточно для решения всех возникающих при этом вопросов об ответственности; я хочу сказать, что его нужно иметь в виду при разрешении их.

## II

Как с интеллектуальной, так и с других точек зрения, необходимо установить заметные отличительные признаки между разными формами социальных группировок. Не станем останавливаться на тех, которые заключаются просто в материальном сближении. Прохожие на многолюдной улице, путешественники, сошедшиеся, даже густо набившиеся на пакетботе, в вагоне, за табльдотом, молчащие или не связанные общим разговором, группируются физически, а не в общественном смысле слова. То же сказал бы я о крестьянах, скопившихся на ярмарке, пока они ограничиваются только заключением торговых сделок между собою, они преследуют каждый в отдельности свои различные, хотя исходные цели, не устраивают коопераций для одного общего дела. Все, что можно сказать о них, это то, что они носят в себе способность к социальному группированию в той мере, в какой их предрасполагает к более или менее тесному, в случае надобности, соединению сходство языка, национальности, религии, класса, воспитания, всякое сходство социального происхо-

ждения, т. е. всякое сходство, обусловленное распространением через подражание какого-нибудь элемента, исходящего от первого изобретателя, анонимного или известного. Стоит, чтобы произошел на улице динамитный взрыв, стоит, чтобы возникла опасность крушения судна или поезда, чтобы вспыхнул пожар в отеле, распространилась на ярмарке какая-нибудь клевета против заподозренного барышника, — и тотчас же эти способные к ассоциированию индивидуумы соединяются для стремления к общей цели под давлением общего возбуждения.

Тогда сама собою рождается первая ступень ассоциации, которую мы называем толпой. Через ряд посредствующих ступеней от этого примитивного агрегата, летучего и аморфного мы поднимаемся к толпе организованной, имеющей иерархическое разделение, продолжительную и регулярную жизнь, словом, к той толпе, которую мы называем *корпорацией* в самом широком смысле этого слова. Самое широкое выражение той и другой — церковь и государство. Заметим даже, что церкви и государства, религии и нации в периоды своего сильного роста всегда имеют тенденцию осуществить корпоративный тип, монастырский или полковой, к счастью никогда не достигая его вполне. Их историческая жизнь проходит в том, что они раскачиваются между тем и другим типом, дают попеременно то идею огромной толпы, как варварские государства, то идею великой корпорации, как Франция эпохи Людовика Святого. Это же происходило с тем, что называлось корпорациями при старом режиме; в обычное время они были корпорациями в гораздо меньшей степени, чем рабочие федерации, эти действительные маленькие корпорации, властно управляемые, каждая в отдельности, своим главой. Но когда общая опасность собирает вместе всех рабочих одной промышленной отрасли для общей цели, такой, например, как выигрыш процесса, тогда, вроде того, как это бывает с гражданами одной нации во время войны, федеративная связь немедленно скрепляется, и вперед пробивается одно правящее лицо. В промежутке между моментом этой совместной единой работы, деятельность ассоциации среди соединенных рабочих ограничивается преследованием какого-нибудь экономического или эстетического идеала; точно также, как в промежутке между войнами вся национальная жизнь граждан сводится к заботе об известном патриотическом идеале. Современная нация, благодаря продолжительному влиянию эгалитарных идей, имеет тенденцию снова стать большой сложной толпой, которую направляют, в большей или меньшей степени, национальные или местные вожаки.

Но потребность в иерархическом строе среди разросшихся обществ стала до того сильна, что по мере их демократизации, как это ни странно, им порою все более и более приходится принимать военную организацию, укреплять, усовершенствовать и расширять ту по преимуществу иерархическую и аристократическую организацию, которая называется армией, не говоря уже об администрации, этой второй огромной армии; и этим путем, они, быть может, готовятся по миновании воинственного периода, под эгидой мира, промышленности, науки и искусства облачиться в корпоративную оболочку, чтобы стать огромной мастерской.

Между двумя указанными крайними полюсами можно поместить некоторые группы, имеющие временный характер; но их состав набирается по установленным правилам, или они подчинены известному краткому уставу. Сюда относятся: суд присяжных, некоторые обычные собрания, преследующие цели удовольствия, литературные салоны XVIII века, версальский двор, театральная аудитория, которая, несмотря на несерьезный характер своей цели и своего общего интереса, связана строгим этикетом, имеет определенный иерархический строй с различием мест; сюда относятся, наконец, литературные и ученые общества, академии, которые являются скорее собраниями взаимно обменивающихся талантов, чем группами вместе занимающихся работников. К разновидностям корпорации мы причисляем членов заговора и так часто встречающиеся преступные секты. Парламентские собрания занимают особое место; это скорее сложные и противоречивые толпы, толпы, так сказать двойственные — двуглавые, как говорят, чудовища — где с беспорядочным большинством борются одна или несколько составивших коалицию групп меньшинства, и где, вследствие этого, по счастью нейтрализуется до известной степени зло единодушия, эта великая опасность, присущая толпам.

Но в форме ли толпы или корпорации, всякая настоящая ассоциация в одном отношении всегда сохраняет одинаковый характер: ее всегда в большей или меньшей степени создает и ведет вождь, явный или сокрытый; он довольно часто скрыт от нас, когда дело идет о толпах; он всегда заметен и бросается в глаза, когда мы имеем дело с корпорациями. С момента, когда масса людей начинает трепетать общим трепетом, одушевляется и идет к своей цели, можно утверждать, что какой-нибудь вдохновитель или вожак, или группа таких вдохновителей, вожаков, среди которых один является активным ферментом, вдохнули в эту толпу свою душу, вдруг ставшую грандиозной, искаженной,

чудовищной; и сам вдохновитель нередко первый бывает поражен и охвачен ужасом. Подобно тому, как всякая мастерская имеет своего руководителя, всякий монастырь — своего настоятеля, всякий полк — своего командира, всякое собрание — своего председателя, или, вернее, всякая фракция собрания — своего лидера, точно так же всякий оживленный салон имеет своего корифея в разговоре, всякий мятеж — своего вождя, всякий двор — своего короля, или князя, или князька, всякая кляка — начальника кляки. Если театральная аудитория имеет, до известной степени, право считаться чем-то вроде ассоциации, то это именно тогда, когда она аплодирует, потому что она подчиняется толчку, который дан первым хлопком, являясь отражением этого импульса, а также тогда, когда она слушает, потому что она подчиняется внушению автора, выраженному устами говорящего актера. Таким образом, везде, явное или скрытое, царит различие между *вожаком* и *ведомыми*, различие, столь важное в вопросе об ответственности. Это не значит, что воля всех исчезла перед волей одного; эта последняя, — она впрочем также внушена, она — эхо внешних и внутренних голосов, по отношению к которым она служит только сгущенным и первым выражением, — для того, чтоб импонировать другим, должна делать им уступки и льстить им для того, чтобы вести их. Так бывает с оратором, который не упустит случая принять меры ораторского искусства, с драматическим автором, который должен всегда уступать предубеждениям и меняющимся вкусам своих слушателей, с лидером, который должен ладить с своей партией, даже с тем же Людовиком XIV, который поневоле сообразуется с своими придворными.

Впрочем, мысль эту следует понимать различно, смотря по тому, идет ли дело о собраниях, образовавшихся самопроизвольно, или об организованных собраниях. В последнем случае, одна воля, чтобы занять господствующее положение, должна, при своем появлении, согласоваться, до известной степени, со склонностями и традициями тех, чья воля подчиняется. Но раз появившись, эта воля одного выполняется тем вернее, чем искуснее организация данной корпорации. Когда же дело касается толпы повелевающей, воле нет необходимости согласоваться с традициями, которые не существуют. Она даже может заставить себе повиноваться, хотя бы между нею и склонностями большинства было только слабое согласие; но, сообразуясь или нет, она всегда выполняется плохо и искажается в то время, как оказывает давление. Можно сказать, что признаками, по которым различаются все формы ассоциации, служат:



- 1) способ, которым одна мысль или одна воля среди тысячи других становится руководящей, условия соревнования мыслей и воли, из которых она выходит победительницей;
- 2) большая или меньшая возможность, которая открывается распространению руководящей мысли, руководящей воли.

Так называемая демократическая эмансипация стремится всем открыть доступ к интересующему нас соревнованию, которое сначала ограничивается известными категориями лиц, постепенно затем расширяющимися. Но всякое усовершенствование социальной организации, в демократической или аристократической форме, дает в результате возможность индивидуальному намерению, обдуманному и связно построенному, входить в умы всех членов ассоциации в более чистом виде, с меньшими искажениями, более глубоко, путями, более надежными и краткими. Глава бунта никогда не располагает вполне своими людьми, генерал почти всегда располагает своими; руководство первого идет медленными и окольными путями, благодаря тысячам уклонений, второй действует прямо и быстро.

### III

Несмотря на приведенные выше соображения, мысль о том, что роль вожаков, по крайней мере по отношению к толпе, является универсальной и весьма важной, оспаривалась и оспаривалась энергично<sup>1</sup>. В самом деле, есть толпы, не имеющие явного вождя. В стране свирепствует голод, со всех сторон поднимаются истомленные голодом массы, требуя хлеба; по-видимому, вожака нет; единодушие рождается само собою. Вглядитесь однако попристальней. Все эти волнения вспыхнули не сразу; подобно пороховому приводу, они начались от первой искры. Первая вспышка началась где-нибудь в местности, более других постра-

---

<sup>1</sup> На брюссельском Конгрессе уголовной антропологии в августе 1892 года, один русский ученый делал нам подобные возражения, ссылаясь на аграрные волнения во время недорода. Затем один итальянский ученый доктор Бианки, на которого мы скоро сошлемся, приводил в возражение нам аналогичные факты. В ответ на это я могу указать, что положение, развиваемое здесь мною, уже раньше в 1882 году доказывал замечательный русский писатель Михайловский в журнале «*Отечественные Записки*».

давшей и склонной к взрыву, в местности, где больше работали агитаторы, явные или скрытые, давшие сигнал к мятежу. Далее взрыв последовал в соседних местностях, и новым агитаторам предстояло уже меньше дела, благодаря их предшественникам, и так от одного места к другому распространяется их деятельность, через подражание одной толпы другой толпе, распространяется с постоянно растущей силой, которая вместе с тем ослабляет значение местных вожаков, до тех пор, пока, наконец, деятельность руководителей не скроется совершенно от глаза, в особенности когда народный циклон перешел далеко за пределы, в которых он имел *raison d'être*, за пределы области недорода. Странно, по крайней мере для того, кто не признает могущества за силой подражания, что самопроизвольность в мятежах тем полнее, чем менее она мотивирована. Именно это упускает из виду итальянский писатель, который в возражение нам ссылается на агитацию в верхней части Миланской области в 1889 году. Во время ряда этих мелких сельских бунтов он заметил, что некоторые из них зародились почти сами собою; что, однако, удивляет его, так как он признает, что причина, выставленная агитацией, была недостаточна для ее оправдания. Жалобы на собственников по поводу контрактов не заключали в себе ничего серьезного, и если год был плохим, то ввоз произведений новой промышленности отчасти вознаграждал за недород. Как же при подобных условиях можно думать, что эти итальянские крестьяне восстали сами собою, без всяких побуждений извне или изнутри или, вернее, извне и изнутри одновременно? Он должен был дойти до первой из этой вспышек, чтоб убедиться, что народное недовольство, бывшее местным и частным, прежде чем распространиться и стать общим, не родилось единым, что здесь, как это бывает во время пожаров, были свои зажигатели, из фермы на ферму, из корчмы в корчму разносившие клевету, злобу и ненависть. Именно они дали глухому брожению, вызванному ими, эту точную формулировку: «Собственники не хотят смягчить арендных контрактов; чтобы принудить их к этому, необходимо внушить им страх». Все средства были указаны: скопление толпами, крики, пение угрожающих песен, битье стекол, грабежи и пожары. Для агитатора, раз действует сила заражения, требуется немного труда, чтобы толпу в две-три сотни крестьян или крестьянок, по окончании обедни или вечерни, склонить к подобного рода манифестациям. Ему нужно только швырнуть камнем, испустить крик или затянуть песню, — немедленно все последуют за ним; а нам скажут потом, что волнение

началось само собою. Между тем, инициатива этого человека была безусловно необходима.

При беглом взгляде все беспорядочные сборища вытекающие из одной первой вспышки и тесно примыкающие одно к другому, это обычное явление революционных кризисов, — можно считать одной общей толпой. Таким образом, существуют сложные толпы, как в физике — сложные волны, ряд волнистых групп. Если стать на эту точку зрения, мы увидим, что не бывает толпы без вожака; мы увидим, кроме того, что, если, идя от первой из этих *составных* толп к последней, значение *второстепенных* вожаков уменьшается, то значение *первоначальных* вожаков все возрастает, увеличиваясь с каждой новой сумятицей, которая порождается предшествующей, путем заражения на расстоянии. Эпидемии стачек служат тому доказательством. Первая стачка несомненно та, в которой недовольство имело наиболее серьезный характер, и которая, вследствие этого, более всех других должна бы возникать сама по себе; эта первая стачка всегда вырисовывает пред нами личность агитаторов; следующие за нею стачки, хотя порою лишены всякого смысла и толку — как это обозначилось среди рабочих, двигающих жернова в Перигоре, которые просто хотели стать модными — эти следующие стачки производят впечатление взрывов, происшедших без помощи фитиля; можно было бы сказать, что они производят выстрел сами, одни, подобно плохим ружьям. Впрочем, я признаю, что мало подходит имя *вожаков* сюда, в применении к простым смутьянам, которые без определенного желанья, полубессознательно нажали курок ружья. Я беру пример из недавнего времени у доктора Бианки: «В одной деревне в исходе марта месяца народ, который, как нам известно, был уже чрезмерно возбужден, заметил полицейских агентов, явившихся для надзора за ним; вид этих агентов привел народ в крайнее раздражение; слышались свистки, затем крики, потом революционные песни, и вот эти бедные люди, дети и старцы, воспламеняют друг друга. Толпа ринулась, принимаясь, конечно, бить стекла и разрушать все, что может». Следует кстати отметить эту необыкновенную склонность толп к разбитым стеклам, к шуму, к ребяческому разрушению; это одна из многочисленных сходных черт между толпой и пьяницей, для которого величайшее удовольствие, опорожнив бутылку, разбить ее. В нашем примере, первый, издавший свист или крик, не давал себе, вероятно, отчета в том возбуждении, которое он вызовет. Но не следует забывать, что мы имеем здесь дело с волнением, которому предшествовали многие

другие, имевшие своих агитаторов, действовавших более сознательно, добровольно.

Случается также часто, что толпа, приведенная в движение кучкой воспламененных людей, образующих ядро, обгоняет их и всасывает в себя, и, ставши безголовой не имеет, как может показаться, вожака; но в действительности она не имеет его в том смысле, в каком тесто, поднявшись, не имеет больше дрожжей.

Наконец — существенное замечание — роль этих вожаков тем значительнее и заметнее, чем с большим единодушием, последовательностью и разумом действует толпа, чем более приближается она к нравственной личности, к организованной ассоциации.

Итак, мы видим, что, несмотря на важное значение, которое имеет характер ее членов, ассоциация, в конце концов, будет хотеть того, чего захочет ее глава. И первостепенное значение имеет характер этого последнего; несколько менее справедливо это может быть по отношению к толпе. Но, если здесь неудачный выбор вождя может не произвести таких губительных последствий, как в корпоративной ассоциации, зато здесь меньше шансов, что этот выбор будет удачен. Толпы, а также собрания, даже парламентские, готовы ухватиться за хорошего говоруна, за первого встречного неизвестного им. Но корпорации купцов, *collegia* древнего Рима, церкви и первые христиане, словом все корпорации, выбирая *приора*, *епископа*, *синдика*, подвергали его сперва продолжительному испытанию, или если они брали своего главу вполне готовым, как например армия, то он выходил из рук разумной и хорошо осведомленной власти. Ассоциации менее подвержены «закупориванию», потому что они не пребывают всегда в *состоянии собрания*, а чаще пребывают в *состоянии рассеяния*, которое предоставляет их членов, освобожденных от тисков соприкосновения, влечению их собственного разума. — Далее, если глава известной корпорации признан превосходным, он может умереть, и его дело переживет его<sup>1</sup>; основатель религиозного ордена, причисленный после смерти к лику святых, живет и действует в сердцах своих учеников; к его учению присоединяется учение всех аббатов и реформаторов, которые следуют за ним, и престиж которых, так же как и его престиж, растет и очищается по мере того, как увеличивается время, отделяющее

---

<sup>1</sup> К сожалению, это бывает по временам и в тех случаях, когда глава не заслуживает такой чести после смерти: политические партии служат тому доказательством. Во Франции буланжисты пережили Буланже, в Чили бальмаседисты — Бальмаседу.

их; между тем, добрые вожаки толпы<sup>1</sup> — встречаются и такие — перестают действовать, как только они исчезли; их забывают прежде, чем успеют заменить. Толпа повинуетя только живым и присутствующим вожакам, которые имеют престиж, так сказать, телесный, физический, она никогда не повинуетя призракам идеального совершенства, воспоминаний, ставших бессмертными. Как я мимоходом заметил, корпорации в своем продолжительном существовании, которое иногда тянется целые столетия, выставляют ряд непрерывно следующих друг за другом руководителей, которые как бы прививаются одни над другими и очищают друг друга; еще одно отличие от толпы, где в лучшем случае существует группа вожаков временных, действующих одновременно, которые отражаясь друг в друге, приобретают увеличенный характер. Таковы отличительные признаки, таковы причины, почему толпа стоит ниже.

Существуют и другие. Не только ниже всех стоят самые вожаки, которые решаются быть избранниками толпы или терпеть ее над собою; самого низкого качества, бывают и те внушения, которые исходят от них. Почему? Во-первых, потому, что чувства и идеи, наиболее заразные, естественно обладают наибольшей силой, как среди колоколов наибольшей силой обладают не те, которые лучше или правильнее звучат, а самые большие, звук которых разносится как можно дальше; во-вторых, потому, что наибольшей силой обладают идеи самые узкие или самые ложные, идеи, которые поражают не ум, а чувство, точно так же самыми интенсивными чувствами бывают наиболее эгоистические; вот почему в толпе легче распространить пустой образ, чем абстрактную истину, легче склонить ее к сравнению, чем к разумному соображению, легче внушить ей веру в человека, чем заставить отказаться от предрассудка; и вот почему, — ввиду того, что в толпе удовольствие от поношения кого-нибудь

---

<sup>1</sup> В конференции по вопросу о *Промышленном примирении и роли вожаков* (Брюссель 1892) один весьма компетентный бельгийский инженер, Вейлер, указывает, какую полезную роль в спорах между патронами и рабочими могут играть *добрые вожаки*, именно, как он их называет, «вожаки профессии», а не вожаки по профессии. Он указывает также на то, что рабочие не обнаруживают в эти критические моменты особенной охоты иметь дело с политиками. Почему? Потому что им хорошо известно, что, раз явившись, эти последние заставят их волей-неволей покориться. Это — оковы, которых они боятся, но которые они, тем не менее, носят.

всегда живее, чем удовольствие поклонения, и чувство самосохранения всегда сильнее чувства долга, — свистки скорее раздаются в толпе, чем крики «браво», и порывы паники чаще охватывают ее, чем порывы храбрости.

## IV

Не без основания высказывалась относительно толпы мысль<sup>1</sup>, что она в умственном и нравственном отношении стоит в общем ниже среднего уровня своих членов. Социальный состав в данном случае, как всегда, не только не похож на свои элементы, по отношению к которым он скорее является *произведением* или *комбинацией*, чем суммой, но он, по обыкновению, имеет и меньше ценности, чем они. Но это справедливо только по отношению к толпе или к сборищам, которые приближаются к понятию толпы. Напротив, там, где царит больше *дух корпораций*, чем *дух толпы*, часто случается, что составное целое, в котором упрочивается гений великого организатора, выше своих отдельных элементов. Смотри по тому, является ли труппа актеров корпорацией или толпой, т. е. смотри по тому, насколько она обучена и организована, актеры эти играют вместе лучше или хуже, чем в отдельности, когда они читают монологи. В корпорации, прекрасно дисциплинированной, как например в жандармерии, превосходно разработанные правила для розыска преступников, для допроса свидетелей, составления протоколов — всегда хорошо составленных вплоть до стиля — передаются по традиции и поддерживают дух индивидуума, опиравшегося на высший разум. Если латинская поговорка утверждала, что *сенаторы хорошие люди, а сенат — дурное животное*, то я имел сотни случаев заметить, что жандармы, хотя они очень часто бывают умными людьми, все-таки ниже в этом отношении, чем жандармерия. Один генерал говорил мне, что вынес такое же убеждение во время смотра своих рекрутов. Когда он расспрашивал их в отдельности о военных маневрах, он нашел их ответы довольно слабыми; но, раз они собрались вместе, они поражали его стройным и бодрым исполнением маневров; они проявляли коллективную разумность, гораздо высшую, чем та, которую они обнаруживали каждый в отдельности. Точно также, полк часто храбрее, отважнее и нравственнее солдата. Корпорации — полки, религиозные ордена, секты, — заходят гораздо

---

<sup>1</sup> См. по этому вопросу интересную статью Sighele о *folla delinquente*.

дальше и в добре и зле, чем толпы; самые благодетельные толпы менее далеки от самых преступных, чем величайшие подвиги наших армий от яростнейших проявлений якобинства, или чем сестры конгрегации св. Винсента де Поля от членов каморры и анархистов. Тэн, изобразивший с такой силой одновременно и преступные толпы, и преступные секты, жакерию и насилия якобинцев во время революции, показал, насколько эти последние гибельнее первых. Но в то время, как толпы чаще делают зло, чем добро, корпорации делают чаще добро, чем зло. Далее, среди корпораций мы не находим тенденции, по которой заразительность впечатлений и чувств соответствует их интенсивности, эта тенденция парализуется здесь специальным подбором и воспитанием, искусством, который длится целые годы.

Если порою толпа во время действия кажется лучшей, даже более героической и великодушной, чем в среднем люди, входящие в ее состав, то это бывает или при чрезвычайных обстоятельствах (например, благородный энтузиазм национального собрания *в ночь на 4-е августа*), или (как в этом же, пожалуй, случае) такое великодушие бывает только наружным и оно, даже в глазах самих заинтересованных лиц, прикрывает могучую власть тайного ужаса. У толпы часто является героизм страха. В иных случаях благодетельное действие толпы есть только последний след бывшей корпорации. Разве мы не видим иногда случаев бессознательного самопожертвования среди толпы небольших городов, сбежавшейся для тушения большого пожара? Я говорю *иногда* по отношению к толпе, а не к пожарным командам, где черты удивительного героизма представляют обычное повседневное явление. Окружающая их толпа, быть может, по их примеру, охваченная чувством соревнования, изредка тоже готова жертвовать собою и пренебрегать опасностью для спасения чьей-нибудь жизни. Но если заметить, что эти собрания представляют собою явление традиционное, что они имеют свои правила и обычаи, что они разделяют работу, что по правой стороне передаются полные, а по левой — пустые ведра, что действия здесь комбинируются с искусством, которое скорее *основано на привычке*, чем произвольно — тогда мы убедимся, что проявления сострадания и братской помощи являются пережитком корпоративной жизни, присущей средневековым «общинам».

Нужно ли в настоящее время приводить доказательства в пользу того, что люди в *массе* в виде толпы, имеют меньшую ценность, чем каждый в *отдельности*? Нужно, потому что против этой мысли спорили. Но я буду краток. Без сомнения, ни

один из готфейских крестьян, сжегших на медленном огне Монэ, ни один из парижских мятежников, утопивших агента Виценцини, не был виноват, я не говорю, в том, что совершил, а в том, что желал этого отвратительного злодеяния. Большинство участников сентябрьских убийств были далеко не злодеями. Бросающаяся толпа, даже состоящая в большинстве из лиц интеллигентных, всегда заключает в себе что-то ребяческое и зверское одновременно: ребяческое — вследствие своей капризной изменчивости, вследствие неожиданных переходов от гнева к взрывам смеха, зверское — вследствие своей свирепости. Она труслива даже тогда, когда составлена из людей довольно смелых. Если противник, не уступающий ей, например, инженер, сбит с ног, его судьба решена. Затоптать ногами своего врага — в этом удовольствии толпа никогда себе не отказывает. Вот образчик ее капризов. У Тэна есть рассказ об одной революционной шайке, которая готовилась умертвить предполагаемого барышника, но вдруг растрогалась, проникается восхищением перед ним и «заставляет его пить и танцевать вместе с собою вокруг дерева Свободы, на котором за минуту перед тем она собиралась его повесить». Подобные вещи наблюдались в период коммуны. Во время последней недели заключенных отвели в Версаль, где их окружила толпа. Среди них, рассказывает Людовик Галеви, находилась «молодая женщина, довольно красивая, со связанными за спиною руками, в офицерском плаще с подкладкой из красного сукна и с распущенными волосами. «Полковница, полковница!» — кричит толпа. С поднятой высоко головой молодая женщина посмотрела на крикунов с вызывающей улыбкой. Тогда отовсюду послышались крики: «Смерть!... Смерть ей!..» Но один старик воскликнул: «Не надо крови, ведь она женщина, наконец!» Гнев толпы мгновенно обращается на старика. Его окружают с криками: «Он — коммунар! Он — поджигатель!» Старику грозила сильная опасность, но в это время послышался пронзительный голос, веселый и смешной голос уличного парижского мальчугана: «Не троньте его, это его дамочка!» Вокруг старика раздался дружный взрыв хохота; он спасен... Толпа, почти моментально, от яростной злобы перешла к неподдельному веселью».

В этой истории достойно внимания все от начала до конца. Можно быть уверенным, раз речь идет о французах, что при виде этой прекрасной амазонки, бравярующей перед убийцами, каждый из них в отдельности пришел бы только в восхищение от нее. Собравшись, они обнаружили только ярость по отношению к ней; они обнаружили чувствительность только к своему задетому коллективному



самолюбью; это было крайнее увеличение их частных самолюбий, достигших очень высокой силы вследствие ее смелого вызова. «Задетое самолюбие народа, говорит госпожа Сталь в своей *Considérations sur la Révolution française*, — не похоже на наши мимолетные переходы: это — потребность причинить смерть». Вполне верно. Но у изолированных лиц из народа раны самолюбия или его уколы не достигают до такой раздражающей и убийственной остроты; это бывает только с народными массами. И это бывает не только с ними, но и со всяким собранием людей, даже образованных и хорошо воспитанных. Собрание, даже самое парламентски дисциплированное, задетое оратором, нередко представляет собою зрелище такой убийственной чувствительности.

Трудно себе представить, до какой степени толпа или вообще всякое собрание, неорганизованное, недисциплинированное, превосходит входящие в ее состав элементы непостоянством, забывчивостью, легковерием и жестокостью, но доказательства слишком многочисленны. Обращено ли внимание хотя, например, на следующее. В октябре 1892 года Париж был терроризирован благодаря динамитным взрывам. Казалось бы, что самой настоятельной необходимостью было защищать себя против этой постоянной угрозы, и, в самом деле, как велика была опасность! Но когда по этому случаю было свергнуто министерство, и был вотирован новый закон о печати, — смешное средство против этого бича, — вспыхивает панамское дело. С этого момента, я хочу сказать, с первого дня, когда еще никто не мог предвидеть важного характера предстоящих разоблачений, вчерашняя тревога была забыта, хотя опасность оставалась такой же, и общественное любопытство, злоба, достигнув чрезвычайных размеров и, прежде всего, общественное негодование, совершенно рассеяли страх. Таков *коллективный ум*: образы следуют друг за другом отрывочно, набегая один на другой, нарастая без связи, как в мозгу уснувшего или загнипнотизированного человека, и каждый из этих образов захватывает все поле внимания. И тем не менее, большинство индивидуальных умов, составляющих этот коллективный ум, стекающихся для того, чтоб образовать эту великую массу, называемую общественным мнением, способны к последовательности и порядку при группировке своих идей.

Другой пример. «В мае 1892 года<sup>1</sup>, — рассказывает Дельбеф, — какой-то несчастный немец, только что высадившийся в Лютти-

---

<sup>1</sup> Journal de Liège, 12 октября 1892. Статья Дельбефа по поводу моего доклада о преступлениях толпы на брюссельском конгрессе уголовной антропологии.

хе, последовал за толпой к месту, где произведен был динамитный взрыв. Вдруг кто-то из толпы, видя, что он бежит скорее других, принимает его за виновника взрыва, сообщает об этом своим соседям, и эта же самая толпа почитает своим долгом убить его. Между тем, из каких элементов состояла она? В общем — из избранного общества, явившегося на концерт. И можно было услышать голоса господ, требующих револьвер для того, чтоб убить наугад несчастного, ни национальности, ни имени, ни преступления которого они не знали! В деле Куртрэ, когда будущий депутат учился разыгрывать роль, аналогичную роли Бали и товарищей в стачках, посмотрите, как глупа толпа: она пытается убить экспертов». Возьмем примеры менее трагического характера, например, аудиторию кафе-концертов; туда собираются парижане и парижанки с утонченным вкусом. Взятые в отдельности, они обнаруживают вкус к утонченной музыке, к литературе пикантной, но приятной. Собравшись вместе, они наслаждаются исключительно бессмысленными песнями. Ивета Гильбер пыталась заставить их воспринять произведения, достойные ее специального таланта; она потерпела фиаско. Раз уже мы коснулись панамского вопроса, можно отметить, что и в этом деле и в массе других тот коллективный следственный орган, который называется следственной комиссией, производил свои действия с необычайной медленностью и неподвижностью; весьма вероятно, что каждый из его членов, облеченный теми же полномочиями, действуя отдельно, лучше исполнил бы дело. Во всяком случае, несомненно, что суд присяжных менее рассудителен, чем присяжные<sup>1</sup>.

Возьмем еще один пример, который я заимствую из мемуаров Жиске, полицейского префекта при Луи-Филиппе. В апреле 1832 года в Париже в разгар холерной эпидемии «молва, распространившаяся по Парижу с быстротой молнии приписывала отраве действие эпидемии и уверила массы, обыкновенно чрезвычайно восприимчивые в такие моменты, что какие-то лица

---

<sup>1</sup> Вогюэ сказал однажды относительно наших министров: «Я с удовольствием мог констатировать крупные индивидуальные достоинства этих министров, проявляющих в своих департаментах по большей части качества выдающихся администраторов; но точно мгновенный паралич поражает их, когда они за министерским столом или у подножия трибуны должны постановить какое-нибудь коллективное решение». И сколько есть министерств, парламентов и конгрессов, к которым с полным правом можно применить это замечание!

отравляли пищу, воду в источниках, вино и другие напитки. В одно мгновение огромные сборища заволокли набережные, Гревскую площадь и т. д. и, может быть, никогда в Париже не бывало такого скопления индивидуумов, которые были *до крайности возбуждены этой идеей об отравлении и искали виновников этих воображаемых преступлений*. Это была какая-то коллективная мания преследования. «Всякий, у кого находились в руках бутылка, флакон или небольшой пакет, возбуждал *подозрение; простой флакон мог превратиться в обвинительный документ в глазах этой обезумевшей толпы*». Жиске сам обошел «эти чудовищные массы людей, покрытых лохмотьями, и нет никакой возможности, говорит он, изобразить, какой отвратительный вид представляли они, нельзя передать впечатление ужаса, который вызывал раздававшийся кругом глухой ропот». Эти обезумевшие люди легко становились убийцами. «Один молодой человек, чиновник министерства внутренних дел, был убит на улице Сен-Дени по одному только подозрению в том, что он хотел бросить яд в кувшины одного виноторговца...» При этом были совершены четыре убийства... Подобные же сцены происходили в Вожираре и предместье Сент-Антуан. Здесь «двое неосторожных бежали, преследуемые тысячами разъяренных людей, которые обвиняли их в том, что они дали детям отравленную тартинку». Беглецы укрылись в кордегардии; но толпа мгновенно окружила последнюю; посыпались угрозы, и ничто не могло бы спасти несчастных от смерти, если бы полицейскому комиссару и одному отставному чиновнику не пришла в голову счастливая мысль — разделить между собою тартинку на глазах у всей толпы. «Благодаря этой находчивости тотчас же ярость сменилась весельем». Такого рода безумства свойственны всем временам; толпы всех народов и всех климатов, римская толпа, обвиняющая христиан в римских пожарах, в поражениях легионов и бросающая их в добычу зверям, средневековая толпа, проникнутая самыми нелепыми подозрениями против альбигойцев, евреев, всякого рода еретиков, подозрениями, распространенность которых заменяет доказательства, мюнцеровские толпы в Германии в эпоху Реформации, толпы Журдана во время террора во Франции, — все они представляют собою одинаковое зрелище. Все они «*terroristes par peur*», как выразилась г-жа Ролан о Робеспьере.

По поводу непоследовательности толпы мне вспоминается то, что происходит на востоке в некоторых странах, постигнутых проказой. Там, рассказывает доктор Цамбако-Паша, «в большин-

стве деревень, как только явится подозрение в появлении прока-зы или кого-нибудь обвинят несправедливо в заболевании ею, население, не обращаясь к властям и даже к врачу, немедленно учреждает суд и казнит по закону Линча того, кого считает прокаженным, повесив его на ближайшем дереве или избив камнями<sup>1</sup>», но это же население посещает часовни при больницах для прокаженных, «прикладывается к образам в тех местах, к которым прикасались уста прокаженных и причащается из одних с ними чаш».

Но как ни велика подвижность, непоследовательность толпы, ее свобода от традиции, в собственном смысле этого слова, тем не менее, толпа всегда склонна к рутине, и в этом отношении она также противоположна корпорациям, которые, в течение всего периода своего роста, являются одновременно и традиционалистическими и прогрессивными, именно потому, что они держатся традиции. Несколько лет тому назад я видел довольно редкий образец такой характерной рутины случайно собравшихся людей. Это происходило в залах монтдорской теплицы, в старом здании. Здесь триста — четыреста человек скопляются на небольшом пространстве, посреди водяных паров температурой в 40 градусов. Все скучают и для развлечения вместо того, чтобы болтать, как в дамской комнате, стараются двигаться, и вот все принимаются двигаться в виде процессий в фланелевых жилетах вокруг находящегося в центре бассейна. И, замечательная вещь, всегда все движутся в одном и том же направлении, в направлении, если мне не изменяет память, часовой стрелки, но никогда в противоположном. По крайней мере, так было в течение того месяца, когда я подвергался этому странному лечению. Несколько раз при начале сеанса я пытался устроить водоворот, повернуть в обратную сторону это вращательное движение; я терпел фиаско. Гулявшие или большинство из них помнили, как они повернули накануне, и бессознательно, повинуюсь повсюду сопровождающему нас инстинкту подражания, который с инстинктом симпатии и общности находится во взаимных отношениях причины и следствия, — каждый стремился верно следовать полученному импульсу. Этим, заметим кстати, можно измерить социальную силу потребности подражания. Если столь незначительное, мало способное подействовать на ум и сердце действие как действие первого из купавшихся, которому пришла

---

<sup>1</sup> *Voyage chez les lépreux, par le d-r Zambaco-Pacha (Paris, Masson, 1891).*

мысль повернуть в известном направлении, если столь незначительное действие достигло такой силы внушения, развило коллективное стремление столь глубокое, то какова должна быть заразительная сила страстей, возбужденных в массах вождем, который вселяет в них идеи убийства, грабежей и поджогов, или обещает им золотые горы! Доктор Обри, превосходно исследовавший в своем интересном сочинении *Contagion du meurtre* явления этого рода, сообщил мне о небольшом наблюдении, сделанном им во время этих исследований, — оно подкрепляет предыдущее соображение. «В анатомических театрах, пишет он, работают много, но работа эта имеет такой характер, что она не мешает болтать и петь. Однажды я и товарищи были поражены психологическим явлением, которое мы окрестили термином *reflexe musical*. Оно заключалось в следующем. Если в момент возможно более полного молчания кто-нибудь из нас пропоет несколько тактов какой-нибудь известной арии и затем сразу остановится, почти немедленно вслед за этим в другом конце залы, кто-нибудь из студентов станет, работая, продолжать начатую арию. Мы часто повторяли этот опыт и всегда с успехом. Не раз мы спрашивали того или другого товарища, продолжавшего арию, и из их ответов узнавали, что они, продолжая начатую арию, не замечали, что следуют известному толчку. Разве это, часто бессознательное, внушение не проливает некоторого света на идеи, которые неизвестно почему и каким путем появляются в толпе, которые, явившись неизвестно откуда, распространяются с головокружительной быстротой?»<sup>1</sup>

Но вернемся назад. Театральная публика представляет аналогичные случаи. Если она капризнее всякой другой публики, то она и в наибольшей степени обладает стадным чувством; столь же трудно предусмотреть ее капризы, как и переделать ее привычки. Прежде всего, ее способы выражать свое одобрение и порицание всегда одинаковы в одной и той же стране; у нас, во Франции, это — аплодисменты и свистки. Затем, ей необходимо

---

<sup>1</sup> Доктор Баженов, русский психиатр, сообщает факт, который превосходно подтверждает и дополняет наблюдение доктора Обри. Пятнадцать лет тому назад на одной из московских сцен Сара Бернар играла *Даму с камелиями*. В пятом действии, в самый драматический момент, когда внимание всей публики было приковано к ее устам и можно было услышать, как летит муха, в этот момент Маргарита Готье, умирающая от чахотки, закашлялась. Тотчас вся аудитория была заражена, и в течение нескольких минут нельзя было расслышать слов великой артистки.

всегда показывать на сцене то, что она привыкла видеть, как бы искусственно это ни было; с другой стороны, опасно показывать то, чего она не привыкла видеть. Кроме того, следует заметить, что театральная публика — сидячая толпа, т. е., полутолпа. Настоящая толпа, т. е. такая, в которой электрический ток вследствие соприкосновения достигает высшей степени быстроты и энергии, состоит из людей стоящих и, прибавим, находящихся в движении. Но это различие не всегда существовало. Еще в 1780 году — свидетельство об этом есть в статье, помещенной в *Mercur de France* от 10 июня 1780 года — партер стоял в главных театрах, и едва только начинали говорить о том, чтобы публика партера садилась. Можно подумать, что, садясь, партер стал умнее; то же случилось с политической и судебной аудиторией у народов, которые начали с парламентов на площадях, составленных из воинов или старцев, стоящих под оружием, а кончили собратьями, заключенными в дворцах и сидящими в курульных креслах и на стульях. Также вероятно, что эта перемена положения дала каждому слушателю большую силу, чтобы противиться влиянию соседей, и несколько больше индивидуальной свободы. Садиться — значит начать изолироваться. Партер стал в меньшей степени *мизанеистом* с тех пор, как он уселся; только с этого момента французская сцена начинает эмансипироваться. Впрочем, среди сидящих зрителей также существуют самые действительные проводники взаимного внушения, особенно зрение. Если бы зрители не видели друг друга, если бы они присутствовали на представлении так, как арестанты одиночных камер присутствуют на богослужении, т. е. в небольших решетчатых клетках, откуда невозможно видеть друг друга, тогда, несомненно, каждый из них, подвергаясь действию пьесы и актеров, свободному от всякой примеси влияния публики, отдавался бы гораздо полнее свободной склонности собственного вкуса, и в этих странных залах проявлялось бы гораздо меньшее единодушие и в аплодисментах и в свистках. В театре, на банкете, в любой народной манифестации редко случается, чтобы кто-нибудь, даже не одобряя *in petto* аплодисментов, тостов, виватов, решился не аплодировать, не поднять своего бокала, хранить упрямое молчание среди восторженных криков. В Лурде, в толпе верующих, идущей в виде процессии и молящейся, есть скептики, которые, вспомнив завтра виденное сегодня — эти сложенные крестом руки, эти крики веры, которые издает один голос, и мгновенно подхватывают уста всех, это целование земли, и эти падения на землю всей массы по приказанию монаха, — рассмеются над

всем этим. Но сегодня они не смеются, не протестуют; они сами целуют землю или делают вид, что целуют, и если не складывают руки крестом, то делают жест для этой цели... Есть ли это страх? Нет. Этим благочестивым толпам чужда ярость. Но неверующие не хотят их *шокировать*. И что же представляет собою эта боязнь скандала? Она показывает, что в глубине самый неверующий, самый независимый из людей приписывает чрезвычайно важное значение коллективному неодобрению публики, состоящей из индивидуумов, суждение которых, каждого в отдельности, не играет в его глазах никакой роли. Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы объяснить обычное замечательное угождение неверующего восторженной толпе, в которую он замешался. По-моему, следует признать, что в момент, когда трепет мистического восторга пробегает по толпе, неверующий воспринимает частицу его, и сердце его проникается мимолетной верой. Признав и доказав этот факт по отношению к религиозной толпе, мы должны воспользоваться им также для объяснения того, что происходит в толпе преступной, где часто поток мимолетной свирепости проникает и искажает нормальное сердце.

Восхваление «гражданского мужества» в противовес военному, которое слывет менее редкостным, представляется чем-то банальным и преувеличенным. Но доля истины, заключающаяся в этой банальной идее, объясняется вышеприведенным соображением. В самом деле, гражданское мужество заключается в том, чтобы вступить в борьбу с народным увлечением, противостать потоку, выступить перед собранием, в совете с особым, изолированным мнением, противоположным мнению большинства; военное же мужество состоит, главным образом, в том, чтобы отличиться в сражении, подвергаясь в более сильной степени импульсу окружающих, идя больше других в том же направлении, в котором они дали толчок. Когда же в виде исключения, военное мужество требует противодействия увлечению, когда дело заключается в том, что полковник должен бороться с паникой, охватившей солдат или, наоборот, сдерживать необдуманый порыв, тогда мужество появляется реже и представляется, надо признаться, более удивительным, чем оппозиционная речь в палате депутатов.

Вообще, по своим обычным капризам, по своей необузданной восприимчивости, по своему легковию, нервозности, по своим резким переходам от ярости к мягкости, от отчаянья к взрывам веселости, толпа походит на женщину даже тогда, когда она состоит, как это почти всегда бывает, из мужских элементов. К

счастью для женщин, их образ жизни, заставлявший их запи- раться в домах, осуждает их на сравнительное уединение. Во всех странах, во все времена, собрания мужчин бывают более частыми, обычными и многочисленными, чем собрания женщин. От этого, быть может, зависит отчасти большая разница, разделяющая оба пола в смысле преступности в пользу более слабого пола. Меньшая преступность деревень по сравнению с городами — явление, которое можно объяснить той же причиной. Селянин живет в состоянии постоянного разъединения с своими соседями. Если женщинам приходится вести жизнь, при которой они ежедневно собираются вместе — я не говорю о корпоративной жизни в форме монастырской или другой — их испорченность достигает одного уровня с испорченностью мужчин или даже опережает ее. Равным образом, когда крестьянин в годы сильного удешевления жизни усердно посещает трактиры, как рабочий — кафе, — он становится более безнравственным и более опасным, чем рабочий. Карл Маркс в своем «Капитале» (гл. XXV) рисует яркую картину рабочих-земледельцев, которые, будучи набраны «странствующим, кутящим пьяницей-хозяином, предприимчивым и изворотливым», гуляют по различным графствам Англии. «Вред этой системы, говорит он, заключается в чрезмерности труда, налагаемого на детей и молодых людей... и в деморализации этих странствующих трупп. Уплата производится в трактире среди обильных возлияний. Шатаясь, поддерживаемый справа и слева крепкими руками какой-нибудь здоровенной девки, достойный хозяин идет во главе колонны, а позади молодая труппа играет и поет игривые и непристойные песни. Встречающиеся деревни, рассадники и притоны этих шаек, обращаются в Содом и Гоморру».

## V

До сих пор мы занимались больше толпами; остановимся теперь дольше на корпорациях. Но сперва выясним отношение, которое первые имеют с этими последними, и ту причину, по которой мы соединили их в один и тот же этюд. Эта причина весьма проста: с одной стороны толпа стремится снова возродиться при первом же случае, стремится возрождаться через промежутки времени все менее и менее неправильные и, совершенствуясь каждый раз, организоваться корпоративно в нечто вроде секты или партии; клуб начинает с того, что бывает открытым и публичным; потом мало-помалу он закрывается и суживается; с другой стороны,



вожаками толпы чаще всего являются не изолированные индивидуумы, но приверженцы секты. Секты — это дрожжи толпы. Все, что совершается толпой серьезного, важного, как в хорошем так и в дурном, внушено ей какой-нибудь корпорацией. Когда толпа, прибежавшая тушить пожар, проявляет разумную деятельность, это значит, что ею управляет отряд корпорации пожарных. Когда толпа стачечников нападает как раз на то, на что нужно нападать, разрушает то, что нужно разрушить для достижения своей цели, например, орудия рабочих, оставшихся на фабрике, это значит, что позади нее, под ней, есть какой-нибудь синдикат, союз, ассоциация<sup>1</sup>. Толпы манифестантов, процессии, триумфальные похоронные шествия вызываются братствами или политическими кружками. Крестовые походы, эти огромные воинственные толпы, произошли из монашеских орденов по голосу какого-нибудь Петра Пустынника или св. Бернарда. Массовые восстания 1792 года были вызваны клубами, которые были сформированы и дисциплинированы остатками старинных военных корпусов. Сентябрьские ужасы, эти жакерии революции, эти поджигающие или кровожадные толпы — все это не что иное, как уродливые последствия якобинизма, везде во главе их виден делегат от соседней секции. Вот в чем опасность сект: предоставленные своим собственным силам, они почти никогда не

<sup>1</sup> Иногда это оспаривается, но несправедливо, потому что такой факт не всегда может быть доказан юридически. В своей книге, впрочем, основанной на точных документах и очень интересной, о *Профессиональных ассоциациях в Бельгии* (Брюссель, 1891) Вандервельде, великий трибун бельгийского социализма, порицает приговор ассизного суда в Геннегау, в июле 1886 г., который осудил нескольких членов союза рабочих на стеклянных заводах в Шарлеруа за подстрекательство к возмущениям, произведенным стачкой рабочих на стеклянных заводах в марте того же года. Против них были только — говорит он нам — «недостаточные презумпции». Но несколькими строками выше он говорит нам, что задолго до стачки «союз рабочих стеклянного производства готовился к борьбе: к борьбе ужасной, к борьбе на жизнь и смерть, как писал глава союза обществ Англии и Соединенных Штатов». А *тем временем* вспыхивают мартовские возмущения 1886; 25-го числа тысячи рабочих являются к своим орудиям; на следующий день эта огромная масса распространяется по стране, останавливает машины, грабит стеклянные заводы... разрушает завод Боду, словом, выполняет целиком программу союза. Это — презумпции, если недостаточные, то все-таки очень важные.

были бы слишком вредными; но достаточно слабой закваски злости для того, чтобы поднялось огромное тесто глупости. Часто случается, что секта и толпа, удаленные одна от другой, были бы неспособны на преступление, но комбинация их легко становится преступной.

Секты, впрочем, могут обходиться и без толпы для того, чтобы действовать; это в тех случаях, когда преступление является у них главной целью или обычным средством, например, сицилийская мафия и неаполитанская каморра. Как было сказано выше, корпорации идут дальше, нежели толпы, как в дурном, так и в хорошем. Ничего нет благодетельнее средневековой Ганзы; ничего нет вреднее в наши дни анархистской секты<sup>1</sup>. Здесь и там — та же сила расширения благодетельного или ужасного. Родившись в 1241 году, Ганза в несколько лет с неслыханной в эту эпоху быстротой распространения сделалась «высшим выражением коллективной жизни, концентрацией всех купеческих гильдий Европы<sup>2</sup>». В XIV веке она образует федерацию, распространяющую свои фактории от Лондона до Новгорода. А между тем, она основана «только на вольном соглашении гильдий и городов; она не знает других средств дисциплины кроме исключения, и корпоративная сила так велика, что Ганза, несмотря на это, имеет влияние на всю Европу», к вящему интересу европейской торговли. Анархизм также распространился очень быстро. Около 1880 г. его изобретатель, основал в Женеве *Prevolté*; затем, в 1881 году, в Лионе *Droit social*, листки, почти не имевшие читателей. «В 1882 г., — говорит генеральный адвокат Берар<sup>3</sup>, — существовало несколько адептов в Лозанне, или в Женеве, два или три отдельных индивидуума в Париже, одна или две группы в Лионе с разветвлениями в Сент-Этьене, в Вильфранш-на-Сене и в Вене — в общем шестьдесят, много сто человек: вот и весь тогдашний

---

<sup>1</sup> Я разумею анархизм, который производит или скорее *производил пропаганду действием*. Что же касается чистых приверженцев свободы, то они играют полезную роль, как противовес общественной дисциплинировке.

<sup>2</sup> Я заимствую эти строки у Прэна, известного бельгийского криминалиста, который в своей очень поучительной книге о *Демократии и парламентском режиме* (2-е издание) пространно говорит о корпоративном режиме, так процветавшем некогда и существующем еще в некоторых провинциях его страны.

<sup>3</sup> *Les Hommes et les Théories de l'anarchie*, Берара (Archives de l'anthropologie criminelle, № 42).

анархический легион». Десять лет спустя, 28-го марта 1892 г., в Париже составился чисто анархический союз, одобряющий Равашолья и его сообщников. Там было 3000 человек, и многочисленные телеграммы были посланы из Франции, и из-за границы для того, чтобы соединиться сердцем в собрании. «Анархисты многочисленны, очень многочисленны в рабочем классе», говорит химик Жиран, который часто имеет дело с ними. По словам Жана Преваля<sup>1</sup>, анархизм не есть простое скопище разбойников, но «партия на пути организации, с очень определенной целью и с надеждой, безусловно основательной, увлечь за собой, по мере достижения *успехов*, огромную массу городского пролетариата». Тот же писатель называет анархистов «легкой конницей социализма». Распространение нигилизма в России шло с не меньшей быстротой. Большие процессы, разразившиеся над ним в 1876 и 1877 г. могут служить доказательством этого.

Между самыми лучшими и самыми преступными корпорациями существует другое сходство: как те, так и другие суть не что иное, как формы этой знаменитой «борьбы за существование», которой так злоупотребляли; формула весьма удобная, которая тремя четвертями своего успеха обязана, подобно многим людям, единственно своей гибкости. Действительно, рассмотрим самые плодотворные корпорации средних веков: «Возьмите, — говорит Прэн, — самые древние самые простые гильдии в Абботсбурге, или в Кембридже, основанные в XI в. в Англии; гильдии в Монсе или Камбрэ, основанные в 1070 и 1076 г.; гильдию *Amicitia* в городе Эр во Фландрии, уставы которых были утверждены Филиппом в 1188 г.; изучите самые могущественные корпорации во времена их наивысшего блеска: гентских валяльщиков сукон, лондонских бакалейщиков, аугсбургских скорняков в XIV веке; везде вы увидите приложение одного и того же принципа: люди, не уверенные в будущем и страшась за свои интересы, ищут точку опоры в солидарности. Впрочем, история их очень проста: это борьба маленьких против больших». То же можно было бы сказать и о прежних университетах, этих больших интеллектуальных корпорациях и даже артистических корпорациях той же самой эпохи, например, о корпорации художников, основанной в Генте в 1337 году под покровительством св. Луки. Но и банда разбойников есть тоже не что иное, как борьба против высшего общества. Только нужно признаться, что ее способ борьбы совершенно другой. Почему же

<sup>1</sup> *Anarchie et Nihilisme*, Жана Преваля (2-е издание, 1892 г.).

это? Почему одна и та же причина, горячее желание лучшей участи одних заставляет объединяться в работе, а других соглашаться друг с другом для убийства?

Этот вопрос — проблема «факторов преступления», так волнующая умы современных криминалистов; но это проблема, перенесенная с отдельных индивидуумов на группы и поставленная относительно коллективных злодейств. Перемещаясь таким образом, она освещается и расширяется и дает средство контролировать некоторые слишком поспешные решения, поводом для которых послужили индивидуальные преступления. Здесь не место распространяться относительно этого контроля. При помощи этого сравнения мы легко заметили бы, что влияние климата, времени года, расы, физиологических причин здесь несомненно, но что оно было сильно преувеличено. Мы увидали бы, что участие физических сил идет, все уменьшаясь, в группах, по мере того, как они, организуясь, делаются все более похожими на индивидуальную личность; что, следовательно, это влияние больше сказывается на толпе в ее образовании, в ее направлении, честном или преступном, нежели на дисциплинированных ассоциациях. Летом, на юге, днем в хорошую погоду, бесконечно легче вызвать беспорядки на улице, нежели зимой, на севере, ночью и под проливным дождем, между тем, как в периоды политического кризиса почти одинаково легко составить заговор как зимой так и летом, как на юге, так и на севере, ночью или днем, в проливной дождь, или при сиянии солнца. Мы увидали бы, наоборот, что «антропологический фактор», или, попросту говоря, состав группы имеет большее значение в ассоциациях, нежели в скопищах, образовавшихся под влиянием непосредственного и скоропреходящего чувства. Толпа, состоящая в большинстве из честных людей, может легко быть вовлечена в преступления, вызванные страстями; проявить вспышки моментального преступного умоисступления, в то время, как секта, одушевленная сильным и стойким чувством, совершает преступления только обдуманно и рассчитанно, всегда соответствующие ее коллективному характеру и с сильным отпечатком ее расы.

Но все это только второстепенные условия. Вопрос в том, каковы те причины, которые придают им тот или иной характер и заставляют их действовать. Не только не существует климата или времени года, предрасполагающих к пороку или к добродетели, потому что под одной широтой и в один и тот же месяц случаются всякого рода злодейства наряду с высокими и деликатными моральными поступками, но даже не существует такой

расы, которая была бы порочна или добродетельна по своему существу. Каждая раса производит зараз индивидуумов, которые *кажутся* обреченными чем-то вроде органического предназначения, одни — на различного рода преступления, другие — на различные проявления мужества и доброты. Только пропорция тех и других в один данный момент разнится в различных расах или, скорее, в различных народах. Но это различие не постоянно: оно изменяется до полной противоположности, когда превратности истории изменяют религию, законы, национальные установления, и понижают или повышают уровень благосостояния и цивилизации. Шотландия на протяжении целых веков была в Европе страной наиболее богатой убийствами, по статистике же нашего времени это страна с *наименьшим* количеством убийств из всех европейских стран с одинаковым количеством населения. Пропорциональное количество шотландцев, которых мы могли бы иметь право считать прирожденными убийцами, уменьшилось на девять десятых приблизительно, меньше чем в одно столетие. И если настолько численно изменчива так называемая прирожденная преступность, то насколько изменчивее должна быть преступность приобретенная? Как объясняются эти изменения? Почему преступления в более или менее значительном количестве *зарождаются*, или *делаются* таковыми, и почему в том или в ином роде? Вот где узел проблемы.

## VI

Между преступными ассоциациями мы также можем различать, как нам кажется, такие, которые рождены преступными, и это выражение, примененное здесь, встретит, без сомнения, меньше возражений, нежели употребленное в своем обычном смысле, так как, без сомнения, мы видим секты, рождающиеся именно для разбоя, грабежа и убийства и сильно отличающиеся в этом от многих других, которые, преследуя вначале самые благородные цели, впоследствии извратились; мафия и каморра, например, вначале представляли собою патриотические заговоры против чужеземного правительства, но это различие, казавшееся таким капитальным и возбудившее такую полемику относительно индивидуальной преступности, не имеет ни малейшего значения в приложении к преступности коллективной. Секта, будь она преступной по рождению или при развитии, секта, делающая зло, одинаково отвратительна, и часто наиболее опасными являются те, которые, возрастая, уклонились от своего первоначального

принципа. Если мы попытаемся добраться до причин, заставляющих рождаться для преступления одни секты, и впасть в преступления другие, то мы увидим, что эти причины одни и те же, а именно, причины психологического и социального порядка. Они действуют в обоих случаях двумя различными и дополняющими друг друга способами: 1) внушая кому-нибудь идею преступления, которое нужно совершить; 2) пропагандируя эту идею, точно так же, как и замысел и способ выполнить ее. Когда дело идет об индивидуальном преступлении, то концепция и резолюция, идея и выполнение всегда разграничены и идут последовательно друг за другом, но воспроизводятся в одном и том же индивидууме; в этом состоит главное различие с преступлением коллективным, где различные индивидуумы делят между собой задачи, где настоящие вожаки и подстрекатели никогда не бывают исполнителями, — различие аналогичное с тем, которое разделяет маленькую индустрию от большой: в первой ремесленник является в одно и то же время и предпринимателем и рабочим, он сам свой собственный патрон; во второй патрон и рабочий — это два разные лица; что слишком хорошо всем известно.

Итак, что же внушает идею преступления? Я мог бы также сказать, идею гения? Принципы и потребности, положения, признанные или непризнанные, и страсти, культивируемые более или менее открыто, которые царят в окружающем обществе, я не говорю всегда в большом обществе, но в обществе тесном и тем более плотном, куда человека забросит судьба. Идея преступления, точно так же, как и гениальное изобретение не вырастает из почвы самопроизвольным зарождением. Преступление — и это особенно верно по отношению к коллективным преступлениям — представляется всегда как смелый вывод, но не менее последовательный, чем смелый, из первых посылок, поставленных традиционными пороками или новой безнравственностью, окружающими предрассудками или скептицизмом, подобно наросту некоторым образом логическому, — а не только психологическому, — образовавшемуся на почве некоторого попустительства в поведении, известных привычных уклонений слова и пера, известных трусливых заискиваний из-за успеха золота, власти, известных скептических и непродуманных отрицаний, благодаря системам или вкусам, находящимся в обращении даже среди самых честных людей какой-нибудь эпохи и страны. В феодальной среде, управляемой чувством чести, совершается убийство из мести; в более современной среде, поглощенной ненасытной жадностью, воровство, мошенничество, корыстное убийство — вот

преобладающие преступления. Прибавим, что форма и характерные признаки преступления отмечены состоянием теоретических или технических познаний, распространенных в этой среде. Тот, кто задумал бы, раньше последних успехов химии, отравление при помощи минерального яда, будет думать теперь об отравлении при помощи яда растительного; тот, кто вчера усердно старался бы выдумать адскую машину, вроде Фиески, будет пытаться сегодня сфабриковать новый динамитный снаряд, более удобный и практичный, карманный снаряд. И это усовершенствование способов действия далеко от того, чтобы быть безразличным, так как, приумножая орудия преступления так же, как и орудия промышленности, развитие наук дает преступлению чудовищно возрастающую силу разрушения и делает идею и план преступления доступными для сердец более робких, более многочисленных, для все расширяющегося круга, так сказать, чувствительных совестей, которых устрасило бы весьма опасное управление адской машиной Фиески или Кадудалю, и которые не задрожат при мысли поставить под лестницей котел со взрывчатым веществом.

Изобретение вообще, — так как первая идея преступления есть только относительно очень легкая форма изобретения, — это есть работа прежде всего логическая; и вот почему часто говорилось в преувеличенной форме, но не без некоторой доли правды, что заслуга изобретателя ограничивается срыванием плода, готового упасть. Формула Ньютона логически выведена из трех законов Кеплера, а эти последние в виде намека заключались в результате астрономических наблюдений, накопившихся со времени Тихо Браге и халдейских астрономов. Локомотив вытекает из паровой машины Уатта, из старой повозки и из нашей возросшей потребности в перемене места; электрический телеграф вытекал из открытия Ампера и из наших сложных потребностей в сношениях друг с другом. Изобретатель научный, военный, промышленный, преступный — это представитель логики, сделавший последний вывод. Это не значит, что всем дано делать такие выводы, и что начатки, выработанные всеми, концентрируются сами по себе в одном мозгу без всякого активного участия этого последнего; он был, так сказать, их перекрестком, благодаря какой-нибудь своей характерной страсти; он обладал алчностью или любознательностью, эгоизмом или преданностью истине; эта страсть искала и нашла средства для достижения своих целей. И для того, чтобы оперировать с этими сконцентрировавшимися данными, для того, чтобы формулировать этот

вывод, перепрыгнуть через страхи ума и моральное отвращение, которые других людей удерживают в обычном состоянии бессознательной непоследовательности, либо губительной, либо спасительной, — для всего этого нужна исключительная организация, нужен организм, образованный такой направляющей монадой, которая принадлежала бы к числу наиболее закаленных, замкнутых в себе — и стойких в своем бытии. Что же нам до того, что без специального обсеменения эта благоприятная почва индивидуального характера не пустила бы ни одного ростка?

И не только гениальные люди того или другого общества принадлежат этому обществу; ему принадлежат и преступники. Если оно по праву гордится одними, то оно с таким же основанием должно относить на свой счет и других, хотя имеет право приписывать им самим их действия. Этот убийца убивает с целью грабежа, потому что повсюду раздаются панегирики в честь денег; тот сатир слышит, как удовольствие провозглашается целью жизни; этот динамитчик исполняет только ежедневно повторяемые советы анархистских газет, а эти последние разве не заняты только тем, что выводят строго логические заключения из следующих аксиом: собственность есть грабеж, капитал есть враг. Всякий слышит, как смеются над нравственностью люди безнравственные для того, чтобы не быть непоследовательными. Высшие классы, которых постигает преступление, не замечают того, что именно они пустили в обращение принцип преступления, если не сами даже показали пример его.

До событий довольно недавнего времени можно было со всей строгостью отстаивать тот парадокс, что, если обилие преступлений, засвидетельствованное статистикой в последние три четверти века, само по себе является реальным злом, то оно отнюдь не имеет значения симптома, что испорченность преступников может повышаться и распространяться непрерывно, и все-таки это не докажет никому в мире, что честность честных людей понижается. Напротив того, повышение нравственности культурных и некультурных масс реально прогрессирует, в то время как преступность прогрессирует в свою очередь. Эти вещи говорились и печатались оптимистами самым искренним образом, ярко отмеченные тем коллективным пристрастием, которое свойственно нашему времени. Но со времени динамитных взрывов и панамского дела я не думаю, чтобы продолжали говорить таким языком. В совпадении этих ужасов и этого скандала есть что-то знаменательное; первые говорят об отчаянии и ненависти внизу, второй о деморализации и эгоизме наверху. И все это превосходно



совпадает с восходящими кривыми уголовной статистики<sup>1</sup>. В виду такого зрелища наш социальный строй можно было бы сравнить с кораблем, потерпевшим крушение, на котором вот-вот произойдет взрыв пороха, если бы не мешала мысль о части европейских народов, сохраняющей вопреки всему силу и здоровье, именно об их армиях. И мы почти утешились бы в необходимости всеобщего вооружения, если бы она не таила в себе столь великих опасностей, из которых наименьшей, несомненно, является та опасность, что эта необходимость имеет свою небольшую долю участия в социальных условиях, из которых родилась, или, вернее, воскресла «идея» анархизма. Нельзя безнаказанно, как это делалось более тридцати лет, обращать изобретательную способность на изобретение новых военных взрывчатых снарядов, таких ужасных орудий, как торпеда или мелинитовые бомбы. Внося в качестве истинных благодетелей человечества изобретателей этих чудовищных орудий, мы приучили человеческое воображение к ужасам их действия. Когда эти орудия изобретены против внешних врагов, то нет ничего естественнее, как воспользоваться ими против внутреннего врага или соперника, против внутреннего иноземца.

## VII

Перейдем ко второму вопросу: раз возникла преступная идея, почему и как она распространяется и осуществляется? Почему и как в данную минуту она могла воплотиться в виде секты, более или менее обширной, более или менее сильной и ужасной, реализующей эту идею, тогда как в другое время она не могла завербовать даже десятка адептов? Здесь все социальные влияния особенно преобладают над естественными предрасположениями. Эти последние, несомненно, требуются в известной неопределенной мере; например, склонность к злобному неистовству, к легковерной подозрительности. Но эти склонности сводятся к нулю, если к ним не присоединится, что чрезвычайно важно, подготовка умов посредством разговоров или чтения, частого посещения клубов, кафе, которые при помощи продолжительного заражения, вызванного медленным подражанием, бросают семена старых идей, которые подготавливают быстрое восприятие вновь явившейся идеи. Идея избирает себе таким образом

---

<sup>1</sup> Уже после того как были написаны эти строки, наступило некоторое улучшение с уголовной точки зрения.

людей среди тех, которых другие идеи к ней подготовили. В самом деле, идея не только выбирает, но она всегда создает для себя людей, как душа — или, если хотите, оплодотворенный зародыш — создает себе тело. И вот что еще делает она: она погружает и постепенно расширяет корни в почве, которая была для нее приготовлена. От первого, кто постиг ее, она, благодаря восприимчивости, еще подражательной, переходит сначала к одному новообращенному, затем к двум, трем, десяти, ста, тысяче.

Первая фаза этого развития зародыша есть ассоциация, состоящая из двух лиц. Это — элементарный факт, который следует хорошо изучить, потому что все последующие фазы представляют собой ни что иное, как повторение. Итальянский ученый Сигеле посвятил целую книгу<sup>1</sup> доказательству той мысли, что во всякой ассоциации, состоящей из двух лиц, супружеской, любовной, дружеской или преступной, всегда один из членов ее действует внушающим образом на другого и накладывает на него свою печать. И хорошо, что доказательства этой истины даны, хотя они и могут показаться излишними. Это слишком верно; берегитесь семьи, где нет ни вожака, ни ведомого; в ней недалеко до развода. Во всех парах, каковы бы они ни были, всегда более или менее явное или замаскированное, существует различие между тем, кто *внушает*, и тем, кто *подвергается внушению*, — различие, которым, впрочем, нередко злоупотребляли. Но по мере того как растет ассоциация, благодаря присоединению следующих неопитов, это различие не перестает действовать. Эта множественность, по существу, всегда остается великой двойственностью, и как бы ни была велика корпорация или толпа, она представляет собою также известный вид пары, где либо каждый подвергается внушению со стороны всех остальных — этого, так сказать, коллективного внушителя, включая сюда и господствующего вожака, либо группа следует внушению этого последнего. В этом последнем случае внушение остается односторонним; в первом случае оно становится в значительной степени взаимным; но факт сам по себе не изменился. Замечательно, что один из самых поразительных примеров такой власти авторитета некоторых людей, являющихся образцами, дает нам анархистская секта, в основе которой заключается полное отрицание принципа авторитета. Если существует общество, которое должно бы было обойтись без начальника, без вожака, то это именно

---

<sup>1</sup> С. Сигеле «Преступная толпа», переиздается в составе «Библиотеки социальной психологии» (прим. ред.)

анархистская секта. А между тем оказывается, что никогда роль вождей не была разыграна так блестяще, так необъяснимо хорошо, как главарями этой секты. Что, наконец, представляет собою *фактическая пропаганда*, превознесенная ею так успешно, если не завлечение при помощи примера.

Есть несколько способов быть вожаком, производить внушение, *впечатление*. Во-первых, можно производить их вокруг себя, но можно и на расстоянии — различие немаловажное. На расстоянии действует такой образец, который вблизи не произвел бы никакого действия или произвел бы иное действие, чего никогда не бывает в случаях настоящей гипнотизации... из чего, кстати, вытекает, что не следует заходить слишком далеко в уподоблении занимающего нас явления явлениям гипнотическим; Руссо, например, читаемый и перечитываемый, завладел Робеспьером. К Руссо Сигеле охотно применил бы слово *incube*, к Робеспьеру — *suscube*. Но несомненно, что если бы они были лично знакомы, взаимное очарование существовало бы не долго и между ними произошел бы разрыв. Такие же отношения устанавливаются между журналистами и их читателями, между поэтом, художником и их поклонниками, которые их не знают, между Карлом Марксом, этим вещуном, и тысячами социалистов и анархистов, которые разобрали каждую букву его. Творение нередко обаятельнее творца. — Во-вторых, вдали или вблизи один человек получает власть над другими либо благодаря исключительному развитию воли, хотя при этом ум остается посредственным, либо благодаря исключительному развитию ума или только убеждения, хотя бы характер оставался относительно слабым; либо эту власть дает непреклонная гордость или сильная вера в себя, при которой человек превращает себя в апостола, либо творческое воображение. Нельзя смешивать эти различные способы вести за собой, смотря по тому, который из них преобладает, влияние, оказываемое одним и тем же человеком, может быть прекрасным или пагубным. Эти четыре главных вида влияния — железная воля, орлиная острота взора и сильная вера, могучее воображение, неукротимая гордость — очень часто соединяются вместе у первобытных народов; отсюда происходит глубокая сила поклонения известным вождям. Но с развитием цивилизации эти свойства разделяются и кроме некоторых исключений, например, Наполеона, начинают постепенно отличаться друг от друга. Так ум изощряется за счет характера, который смягчается, или за счет веры, которая слабеет. Преимущество заключается в тенденции придать характер взаимности

действию внушения, которое вначале было односторонним. Кроме того, власть при действии вблизи и при действии на расстоянии приобретает превосходством не одних и тех же качеств. При действии на расстоянии главную роль играет превосходство ума и воображения; при действии вблизи особенно заразительно действует сила решимости, даже зверская, сила убеждения, даже фанатическая, сила гордости, даже безумная. Цивилизация, к счастью, ведет беспрестанно к возрастанию пропорционального отношения действий на расстоянии к другим действиям, постоянно расширяя и район действия и число людей, завоевавших известность, благодаря распространению книг и газет. И это далеко не последняя услуга, которую она нам оказывает, и которая является ее долгом нам в награду за столько бедствий. Но когда речь идет о толпе, то именно действие вблизи распространяется со всей своей интенсивностью, беспорядочностью и непристойностью; когда мы имеем дело с корпорациями, оно сказывается в меньшей степени и лучше, если только это не преступные ассоциации без прошедшего и будущего, которые двигает зловредное влияние одного человека и которые умирают после него.

## VIII

Возвращаясь к *практической* анархической секте, следует заметить, что если она нова и не имеет прошлого — то только в своей современной форме; в самом деле, даже при поверхностном взгляде, брошенном на ее прежние формы, мы увидим, что она очень древнего происхождения. Апокалиптическая греза о всемирном разрушении для вещего блага Вселенной не нова под солнцем. Всем еврейским пророкам являлось это видение. После взятия Иерусалима и разрушения храма, в 70 году нашей эры, в римской империи возникло немало разных апокалиптических сказаний, еврейских и христианских, которые все сходились в предсказании полного и внезапного разрушения установленного порядка на земле и на небе; они видели в этом необходимую прелюдию к торжественному воскресению. В эпоху разрушения — извержения Везувия или великого землетрясения — самая обычная вещь встретить эту мысль о конце мира и последнем суде, как ни противоречит она *мизонеизму* древних народов. Таким образом, нынешние динамитчики только возрождают кошмар тысячелетий, Разница лишь в том, что иерусалимские фанатики желали всеобщего разрушения вследствие грехов человечества и несоблюдения

законов; они были убеждены на основании непогрешимых книг, что за этим разрушением настанет эра благоденствия, обещанная самим Богом. Они точно указывали подробности этого царства Мессии. А наши анархисты, когда их спрашивают о том, что они установят на место разрушенного до основания общества, или совсем ничего не отвечают или неопределенно говорят о возрождении «доброего естественного закона». Они не указывают нам священных книг, где можно было бы прочесть возвешение, сделанное им их Мессией, возвешение об его же неподдающемся выражению царстве. Далее не нравственное зло, а исключительно зло экономическое и материальное, от которого страдают люди, побудило их к их ужасному отрицанию.

Более непосредственные родственные узы соединяют анархистов с цареубийцами нынешнего столетия и прошлых веков, несмотря на внешнее различие побудительных мотивов, которые во втором случае имеют политический, а в первом — социальный характер. Если бы изобретатели адских машин, направленных против первого консула, Луи-Филиппа, Наполеона III, знали динамит, то, несомненно, это вещество выбрали бы они для своих покушений, как это сделали политические противники президента Венесуэлы, которые 2 апреля 1872 года во время междоусобной войны пытались взорвать динамитом его дворец, но благодаря какому-то чуду не осуществили этого. Впрочем, благодаря всеобщей подаче голосов, цареубийство в настоящее время является только пережитком прошлого.

Таковы преступления сект. Существуют и преступления толп, имеющие с ними не одну общую черту. Таковы массовые сожжения монастырей в эпоху Реформации, замков — в эпоху революции. Благодаря этим толпам поджигателей, среди белого дня срывавшимся с цепи, также как благодаря нашим динамитчикам, рассеянными во мраке, вспыхнула ненависть к правящим классам, а затем благодаря привычке — безумная и тщеславная ярость разрушения. За этими шайками также стояли софисты, которые должны были догматизировать их преступления, как за всяким деспотом стоит, по словам Мишле, юрист для оправдания его насилий. Пожары, как и взрывы, будучи собственно преступлениями, не грязнили пальцев, освобождали убийцу от необходимости видеть кровь своих жертв, слышать их раздирающие душу крики. И ничто так хорошо не примиряет с самой дикой жестокостью самую утонченную чувствительность нервов.

Это сравнение показывает, до какой степени преступная секта может быть еще ужаснее, чем преступная толпа. Но с другой

стороны, очевидно также, что репрессия имеет гораздо больше силы над первой, чем над второй. Опасность секты, составляющая в то же время ее силу, заключается в непрерывном прогрессе ее путей. Системы фитилей и зажигания вначале были неудовлетворительны; их не замедлили заменить новыми, более совершенными. Явилась разрывная бомба, которая была адским изобретением гения.

Другая опасность сект заключается в том, что их состав не вербуются, как это бывает с толпами, исключительно из людей более или менее сходных между собою по своим природным инстинктам или по воспитанию; они собирают и дают работу разным категориям самых несходных между собою лиц. Люди сходные образуют собрание, но люди, дополняющие друг друга, образуют товарищеский союз; а для того, чтобы дополнять друг друга, необходимо различаться. *Qui se ressemble s'assemble* — эта истина особенно верна по отношению к сектам. Существует не один, а много типов якобинца, нигилиста, анархиста. Лионские анархисты 1882 года поразили Берара разнообразием своего состава. «Мистики, мечтатели, наивные невежды, преступники против естественного права... на одной скамье; рабочие, прочитавшие много, не понимавшие прочитанного, составившие самую странную амальгаму из всех доктрин; настоящие дикие звери, прекраснейшим образцом которых является Равашоль; наконец, царящий над всеми ими честный отпрыск самой чистой аристократии...» Мы уже не говорим о настоящих безумцах, входивших в состав этой группы. — Таковы практики сектантских преступлений; теоретики их, резко отличающиеся от практиков и нередко искренно отвергающие их — не менее многочисленны и разнообразны. Велико расстояние между угрюмым возвышенным гением, который кует против капитала правдоподобные теоремы, трибуном, который, подобно Лассалю, бросает их как зажигательные бомбы, и журналистом, который пускает их в обращение, применяет их и чеканит из них мелкую фальшивую монету<sup>1</sup>. И тем не менее, стечение всех этих несходных талантов, их соприкосновение

---

<sup>1</sup> Отношение существующее между вдохновителями прессы и исполнителями ясно обнаружилось в Лионе. В октябре 1882 г. в Лионе имели место два покушения; одно, в кафе, было за несколько дней до своего осуществления предсказано в анархистской газете; при этом один человек был убит и несколько ранены, другое было произведено перед зданием присутствия по воинской повинности; это покушение было предсказано в той же газете.

с мистиками, наивными людьми и преступниками, о которых только что говорилось, и которые сами сошлись вместе, — это двойное стечение и это соприкосновение необходимы для того, чтобы раздался взрыв динамитной бомбы.

В физическом отношении они так же разнородны, как и в нравственном. Некоторые представляют собою, так сказать, вырожденцев в физиологическом и анатомическом смысле; таково, по-видимому, было значительное число анархистов в Лионе. В этом отношении они не походили на своих люттихских братьев. При этом следует заметить, что многочисленные покушения, совершенные этими последними в Люттихе, с марта до мая 1892 года, привели в результате только к материальному разрушению (именно в церкви Saint-Martin были разбиты дивные окна); есть даже основание думать, что они никогда и не хотели убивать или ранить кого бы то ни было. По крайней мере два замечательных криминалиста, долгое время наблюдавшие и изучавшие в тюрьме шестнадцать люттихских анархистов, именно Тири, профессор уголовного права в Люттихе, и Пренс, главный тюремный инспектор Бельгии, уверяли меня с изумительным единодушием, что не заметили у заключенных никакой физической аномалии. Оба были поражены «их вполне порядочным видом». Все эти люди казались Тири безупречными «с точки зрения трудовой, семейной или нравственной». Один из них был проникнут глубочайшим мистицизмом. «Многие, даже большинство, были вполне интеллигентными людьми». Но это не мешало, — говорит Пренс, — им быть чрезвычайно наивными. «Они, по их словам, хотели своими взрывами обратить внимание на несчастное положение народа. Парижская коммуна обратила внимание на положение рабочих; следует продолжать ее дело». Все они, за исключением их вождя Муано, раскаивались в своем безумии. Один этот факт показывает, какую власть он имел над ними. «Впрочем, нет сомнения, — писал мне Пренс, — что они взаимно настраивали друг друга при совместных беседах»; это служит объяснением переворота, совершившегося в них, когда они были размещены по одиночным камерам. «Я, — пишет дальше тот же наблюдатель, — был поражен приятным, открытым, интеллигентным и симпатичным лицом одного молодого человека, рабочего оружейной фабрики. Он рассказал мне, что все время, свободное от работы, он проводил за чтением. Он читал Монтескье, Прудона и т. д. У Монтескье он нашел оправдание права мятежей. У Прудона он прочел мысль, что собственность есть воровство. «La conquête de Paris» привело его в волнение. «Вы не можете

представить, — сказал он мне, — как хорошо это сочинение!» Сколько умов должны обладать способностью подвергаться такому же внушению!

Помещенное Гюгом Леру в «*Matin*» описание парижских анархистов, у которых он завтракал, вполне согласуется с наблюдениями Пренса и Тири. «Я смотрел, — говорит он, — с любопытством на своих хозяев. В их фигурах не было того ужасного отсутствия симметрии, той алкоголической лютости, которые придают такой печальный характер фотографиям Бертильона. То были люди по образованию ниже среднего, все — рабочие». Они излагают свои теории, сильно напоминающие те теории, которые два других «сотоварища», явившись в редакцию «*Matin*» (11-го ноября 1892 года), развивали там. Эти последние приходили собирать подписи для *soupes-conférences*. Пища телесная и пища духовная одновременно. Требование *panem et circenses*<sup>1</sup>, представляло, быть может, меньше опасности.

Все эти идеи, распространение которых лежит на попечении этих «*conférences*», нам известны, мы знаем их происхождение. Ложными идеями, напыщенными речами, теориями, нередко темными, создаются секты. Производя впечатление, часто ложное впечатление, обманывая глаз, а не ум, поднимают толпу. Когда, при погребении Цезаря, Антоний хотел поднять римскую чернь, как он поступил<sup>2</sup>? После патетической речи, он приказывает поднять лежавший труп и снять с него покрывало; труп, обнаженный и покрытый двадцатью тремя ранами. «Народу кажется, будто сам Цезарь поднимается с смертного ложа, взывая о мести. Они бегут в курию, где он был убит, и поджигают ее. Они ищут убийц и, обманутые тождеством имени, разрывают в клочки трибуна Цинну, приняв его за претора Цинну<sup>3</sup>». На место этих обманчивых впечатлений чувства поставьте софизмы теологические, метафизические, экономические, смотря по месту и времени, и явится секта — гуситов, анабаптистов, якобинцев, нигилистов, анархистов — еще более зажигательная, смертоносная, страшная и притом гораздо более прочная, чем римские мятежники, повинующиеся трупу Цезаря.

<sup>1</sup> Хлеба и зрелищ (*лат.* — *прим. ред.*).

<sup>2</sup> См. Duruy, *Histoire des Romains*, т. III, стр. 430 и сл.

<sup>3</sup> В начале революции 1848 года труп одного мятежника, который провезли ночью по парижским улицам, послужил одним из главных толчков к народному восстанию.



От Карла Маркса до Кропоткина и от Кропоткина до Равашоль расстояние велико, но все трое являются звеньями одной цепи, — я сожалею о том, что входит в нее и первый из них. Он — превосходный экономист. От негодования, часто имеющего основание, против социального строя, который кажется несправедливым и дурным, фатально совершается переход к гневу, который заставляет клясть счастливых этого несправедливого порядка, и к ненависти, которая побуждает убивать их. Разве нет людей, которые рождаются с неодолимой потребностью ненавидеть что-нибудь или кого-нибудь? Их ненависть рано или поздно находит свой объект, который она немедленно изливает на какую-нибудь личность, поражая ее посредством пера или железа, клеветы или убийства. Проповедники насилия в печати указывают эту личность уличным убийцам. Равашоль представляет собою тип анархиста-исполнителя, бескорыстного убийцы. Он принадлежит к числу тех рецидивистов, преступающих естественное право, которых всякая преступная секта насчитывает множество в своих рядах. «Многие анархисты, — говорит Берар, — были осуждены за воровство: Борда, Равашоль, Франсуа, виновник взрыва в Вери». При этом следует заметить, что даже при обыкновенном воровстве и убийстве, которое совершают анархисты, проявляется редкое свойство воли или особый своеобразный стимул. Какая печальная энергия обнаружена Равашолем при оскорблении могилы! Если при убийстве отшельника он убил для того, чтобы красть, то правильнее, может быть, было бы сказать, что он воровал для того, чтобы убивать, с целью доставить своим сотоварищам деньги, необходимые для существования их кровавых планов. Равашолем в данном случае руководила пагубная логика: этот старый отшельник — капиталист, всякий капиталист — вор, доводящий до голода и убивающий трудящегося человека; будем убивать капиталистов, отнимем у них свое имущество<sup>1</sup>; возьмем их золото, употребим его на то, чтобы уничтожить палачей народа и разрушить все их сооружения: соборы, музеи, библиотеки, рудники, заводы, железные дороги, эти многообразные формы, в которые воплотился или нарядился гнусный капитал.

Чудовищная логика такого рода еще сильнее обнаруживается у Равашоль, чем у Фиески, с которым, впрочем, он имеет немало

---

<sup>1</sup> Такую речь произнес анархист Зевако перед парижским судом присяжных в 1891 году: «Буржуа убивают нас посредством голода; будем воровать, убивать, производить динамитные взрывы; все средства хороши, чтобы избавить нас от этой гнили».

общего; и в этом отношении, так же как и в отношении пущенных в дело средств, совершался прогресс от первого ко второму. Та же театральная рисовка, безрассудная у обоих<sup>1</sup>, та же сила духа. Фиески также был рецидивистом: он еще на родине своей, Корсике, воровал животных и подделал печати мэрии — впрочем, у этих островитян это были небольшие грехи. Но если в этом корсиканском ткаче было очень мало логики, если в этой грубой натуре не было все с такой ужасной последовательностью направлено к определенной цели, то, взамен этого, в нем было больше той мрачной и жестокой красоты, которая является лучом *à la* Рембрандт этих великих преступников. Он сознался во всем «для того, чтобы его не сочли лжецом<sup>2</sup>». Он стыдился лгать, этот бывший подделыватель! Смелость и кровожадность являются обыкновенно лицевой и обратной сторонами одной и той же древней медали; подобно стольким древним римлянам, он был храбр и жесток своей храбростью. Это презрение к чужой жизни, которое заставляет приносить в жертву десятки посторонних людей ради того, чтобы добраться до одного, если не искупается, то становится несколько более понятным благодаря тому, что оно соединяется с презрением к смерти.

Он оставил нам изображение своего душевного состояния в момент своего покушения. Это изображение слишком ярко для того, чтобы быть лживым; впрочем, культ правды был для него, благодаря его гордости, также обязателен, как и культ благодарности. Вот он в палате позади двадцати четырех орудий, приспособленных к моменту следования короля. Он поклялся исполнить свое роковое решение; он обещал это — Пепину и Морею, и он сделает это, во что бы то ни стало... Но он замечает в толпе Ладвоката «своего благодетеля». При виде его, он изменяет направление своих ружей, потому что он не может покуситься на эту священную для него жизнь. Но Ладвокат исчезает. Появляется король в сопровождении полка солдат. Снова сомнения: убить столько генералов, офицеров, «заслуживших свои чины на полях сражений, в битвах за родину, под командой великого Наполеона», великого корсиканца! У него не хватает решимости; но вот он вспоминает, что дал слово Пепину и Морею, и он говорит себе: «Лучше умереть — и даже убить — чем пережить подобный

---

<sup>1</sup> «Если бы я рассказал, что я совершил, — говорил Равашоль Комартену, — мой портрет появился бы во всех газетах».

<sup>2</sup> См. *Mémoires de Gisquet*, т. IV.

позор: дав обещание, оказаться затем трусом<sup>1</sup>...» И он нажимает курок. Можно ли утверждать, что люди такого рода — даже сами Фиески и Раваполь — были неизбежно предназначены для преступления? Покушение первого также не было простым делом. Для того, чтобы совершить его, нужно было, чтобы хитрость, Морейя, холодная и безмолвная, финансовые и интеллектуальные средства, несколько более крупные, чем у Пепина, соединились с непреклонной энергией Фиески; кроме того, было необходимо, чтобы фанатизм всех троих ежедневно возбуждали и подогревали мятежные статьи нескольких журналистов, которых, в свою очередь, подбодряли тысячи читателей, озлобленных или развесивших уши. Уничтожьте один из этих пяти «факторов» — публику, газеты, мысль, деньги, смелость — ужасного взрыва не было бы. По поводу каждого взрыва бомбы — и каждого скандала, финансового или парламентского или другого, волнующего общественное мнение — мы все в большей или меньшей степени можем сказать *mea culpa*<sup>2</sup>; мы все более или менее повинны в самых причинах нашего смятения. Это наша общая вина, если эти могущественные организации получают дурное направление. Из этого, конечно, не следует, что нужно оправдывать этих преступников. Заражение, которому мы подвергаемся, еще больше открывает нас другим и часто — нам самим, чем овладевает нами; это заражение не освобождает нас от ответственности. Когда кровожадная толпа с остервенением набрасывается на мученика, некоторых зрителей увлекает она, других — он. Скажем ли мы, что эти последние, герои из подражания, не заслуживают, благодаря действию этого увлечения, никакой похвалы? Это было бы столь же справедливо, как если бы мы освободили от поношения первых только за то, что их кровожадность является отраженной. Но оставим теперь эти тонкие вопросы об ответственности. Приведенные выше рассуждения и документы имели целью исследование сравнительной психологии и патологии толп и преступных ассоциаций, а не изучение их карательной терапии.

<sup>1</sup> Он сильно заботился о том, что говорилось о нем на Корсике. Это господствующее внимание к маленькому обществу и это пренебрежение к большому характерны. Раваполь также заботился только о том впечатлении, которое его преступления производили на группу его «сотоварищей».

<sup>2</sup> Моя вина (*лат.* — *прим. ред.*).

# ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП

*Компьютерная верстка Странников В. Ю.*

Сдано в набор 26.11.97. Подписано в печать 15.12.97.  
Формат 60x90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Объем 26 печ. л.  
Тираж 5000 экз.

Издательство «Институт психологии РАН».  
129366, Москва, Ярославская ул., д. 13. Тел. 282-72-50.  
Лицензия ЛР № 021044 от 25 марта 1996 г.

Издательство «КСП+».  
113054, Москва, Новокузнецкая ул., д. 33, к. 2. Тел. 951-91-09.  
Лицензия ЛР № 065163 от 7 мая 1997 г.

Макет и диапозитивы издания  
изготовлены ЦИТ «Универсум»

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Московской типографии № 2 ВО «Наука»,  
121039, Москва, Шубинский пер., д. 6

Заказ № 2856